

СЕРГЕЙ ПОЦЕЛУЕВ

Бессмыслица в аспекте семантики

Очерк истории идей

Обзор:

1. Парадоксы бессмысленности в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна.
2. Г. Фреге о бессмысленности псевдоимен и осмысленности абсурдов.
3. «Абсурд» и «нонсенс» в феноменологии языка Э. Гуссерля.
4. К расселовской типологии бессмысленных предложений.
5. Концепция языковых аномалий Н. Хомского.
6. Об опыте классификации семантических бессмыслиц.
7. Об эстетической утилизации бессмыслиц языка.

Обыденное сознание склонно к отождествлению «абсурда» и «бессмыслицы» с чем-то ложным. Однако если задаться специальной целью — систематически исследовать синонимическое поле бессмыслицы, то обнаружится, что если бессмыслица и ложь, то какая-то очень странная ложь. Причем настолько странная, что вполне могла бы сойти и за *странную истину*.¹ Логическая наука тоже протестует против простого отождествления бессмысленного с ложным. Своеобразный (эпистемологический) скандал бессмыслицы был, к примеру, замечен Ч. Пирсом, который — вопреки здравому смыслу — относил бессмысленные предложения к истинным: «Предложение истинно, если оно не ложно. Следовательно, полностью бессмысленные предложения,

¹ Развертывание этого сюжета мы оставляем за рамками данной статьи.

если они вообще могут быть названы предложениями, должны быть отнесены к истинным предложениям».² Правда, надо иметь в виду, что Пирс подразумевал здесь формально-логическую истинность. А в символической логике, которой занимается Пирс, проблема истинности, смысла и значения выглядит иначе, чем в феноменологии и лингвистике.³ Задачей настоящей статьи является как раз попытка сопоставить трактовки речевых бессмыслиц, развиваемые из перспективы разных дисциплин: логики, феноменологии и лингвистики. Мы ставим здесь перед собой скромную задачу экспозиции ряда идей, не вдаваясь в их подробный сравнительный анализ. Однако даже такой опыт может оказаться полезным для специального исследования речевых бессмыслиц.

1. Парадоксы бессмысленности в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна

Такое начало в изложении нашей темы может показаться не совсем корректным, учитывая исходное влияние на Витгенштейна со стороны Фреге и Рассела, а также неоднозначное отношение к «Логико-философскому трактату» среди логиков. Однако именно в «Трактате» парадоксальнее всего формулируется логический подход к речевым бессмыслицам. Развивая логическую трактовку языка, свойственную Фреге и Расселу, Витгенштейн в известном смысле доводит ее до абсурда, обнажает ее проблемные аспекты. Это касается прежде всего самого замысла «Логико-философского трактата»: провести границу выражения мысли в языке. Причем такая граница, подчеркивает Витгенштейн, «может быть проведена только в языке, а то, что лежит за ней, оказывается просто бессмыслицей [Unsinn]».⁴

Итак, бессмыслицу Витгенштейн определяет как то, что лежит за границей мышления, проводимой в языке; другими словами, это то, что находится вне «логики языка» (с учетом того, что у языка нет отличной от мысли логики). Конечно, словесные абракадабры и всякая белиберда тоже лежат вне логики языка и в этом смысле бессмысленны. Но не в этом, банальном для Витгенштейна, факте заключен теоретический интерес его «Трактата». Витгенштейн высоко ценил мысль Рассела о том, что видимая логическая форма предложения необязательно является его действительной логической формой.⁵ В этой связи Витгенштейна интересуют прежде всего философские предложе-

² См.: Пирс Ч.С. Элементы логики. *Grammatica speculativa* // Семиотика. Антология / Под ред. Ю.С. Степанова. М., 2001. С. 178.

³ См. об этом: Бенвенист Э. Проблемы общей лингвистики // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 2002. С. 43.

⁴ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. М.: Гнозис, 1994. С. 2.

⁵ Там же. С. 19.

ния; он стремится показать, что *вопреки* своей внешней осмысленности, они бессмысленны [unsinnig], поскольку игнорируют границу логического в языке, т.е. «не понимают логику языка». А логика, представленная в языке, такова, что если в ней *быть*, тогда *в ней* невозможно ошибаться, — как невозможно «изображать в пространственных координатах фигуру, противоречащую законам пространства, или же указывать координаты несуществующей точки». ⁶ Получается, по Витгенштейну, что нельзя мыслить нелогично, но ведь можно нелогично *говорить*, причем в полном соответствии с законами грамматики. И в этом состоит как раз «парадокс» бессмысленных предложений.

Даже с чисто логической точки зрения такое понятие «логики языка» и «бессмысленного» требует уточнения. Во-первых, как быть с тем, что традиционно называется логическим абсурдом? Следует ли утверждение взаимоисключающих положений, как это имеет место в операции *reductio ad absurdum*, относить к бессмыслице [Unsinn], лежащей за пределами мысли? Во-вторых, необходимо уточнить, в чем именно состоит бессмысленность предложений, лежащих в языке по ту сторону мыслительной границы. Что собственно должна нарушать речь, чтобы оказаться вне логической вотчины мысли? Наконец, в каком отношении витгенштейновская «бессмыслица» стоит к бессмысленности логических парадоксов типа парадоксов теории множеств, а также к попытке их разрешения в теории логических типов Рассела-Уайтхеда?

В рамках первого вопроса следует обратить особое внимание на трактовку Витгенштейном тавтологии и противоречия (контрадикции). Для Витгенштейна беспредметность тавтологии и противоречия безусловна: «У тавтологии нет истинностных условий, ибо она безусловно истинна, противоречие же не истинно ни при каких условиях». ⁷ Предложение, по Витгенштейну, может быть истинным или ложным лишь в силу того, что оно — «картина действительности», представляющая «определенную ситуацию в логическом пространстве». ⁸ Тавтология же и противоречие такими картинами не являются, поэтому они не могут быть ни истинными, ни ложными, а только бессмысленными предложениями. В этом — *и только в этом смысле* — они лишены смысла [sinnlos]. Причем они бессмысленны у Витгенштейна в несколько ином смысле, чем бессмысленны абракадабры. Бессмыслицу как абракадабру, нонсенс (совершенный аграмматизм), которую Гуссерль называл *das Sinnlose, das Unsinnige* и строго отличал от бессмыслицы как логического абсурда (*das Absurde, das Widersinnige*), Витгенштейн здесь не имеет в виду. Но вместе с тем он вводит одно важное различие внутри сферы бессмысленных предложений, назы-

⁶ Там же. С. 10–11.

⁷ Там же. С. 33.

⁸ Там же. С. 8.

вая тавтологию и противоречие (= контрадикцию) бес-смысленными (sinnlos) (т.е. лишенными реального значения, смысла), но не бессмысленными (unsinnig) (т.е. не способными иметь какое бы то ни было значение, смысл) предложениями. Однако — как мы далее увидим — эта дистинкция не совпадает со смыслом гуссерлевского различия нонсенса и абсурда.⁹

Итак, тавтология и противоречие, будучи sinnlos [бес-смысленными], т.е. предложениями без смысла, не являются, по Витгенштейну, unsinnig [бессмысленными], потому что «они принадлежат символической, подобно тому как «0» принадлежит символической арифметике».¹⁰ От этого статус тавтологии и противоречия оказывается в «Логико-философском трактате» парадоксальным. Возьмем тавтологию. С одной стороны, как указано, она принадлежит «символической языку», причем под символом в «Трактате» понимается «любая часть предложения, которая характеризует его смысл».¹¹ С другой стороны, тавтологические предложения как «предложения, истинные для любой ситуации, вообще не могут быть сочетаниями знаков, в противном случае им могли бы соответствовать только определенные сочетания объектов».¹² В каком же тогда смысле тавтология тем не менее относится к символической языку? — В том смысле, что в ней, как и в противоречии, «знаки все еще соединены друг с другом, то есть они находятся между собой в определенных отношениях, но эти отношения лишены значения, они несущественны для *символа*».¹³ Но каковы эти отношения между знаками, которые лишены смысла, но вместе с тем не делают предложение полной бессмыслицей? И что понимать тог-

⁹ Адекватный русский перевод витгенштейновских терминов sinnlos и unsinnig крайне затруднен тем, что наиболее возможные варианты русских слов представляют собой точные синонимы в повседневном языке (бессмысленный, абсурдный, нелепый); можно было бы пойти по пути самого Витгенштейна и придать условное концептуальное различие соответствующим русским терминам. Скажем, всегда переводить слово sinnlos термином «бессмысленный», а термином «абсурдный» — слово unsinnig. Однако в нашем исследовании, специально посвященном бессмыслице, это породит большую путаницу из-за существенно иного смысла термина «абсурдный», к примеру, у Гуссерля или из-за специфического смысла терминов sinnlos и unsinnig у Фреге. Гуссерлевское различие между das Sinnlose, das Unsinnige и das Absurde, das Widersinnige тоже ведь является искусственным с точки зрения обычного словоупотребления в немецком языке. Чтобы избежать дополнительной путаницы, мы остановились на решении, предложенном М.С. Козловой и Ю.А. Асеевой в русском переводе «Логико-философского трактата» (1994). Мы тоже передаем оба немецких термина словом «бессмысленный», но в случае sinnlos выделяем дефисом корневую часть слова (бес-смысленный). Тем самым мы подчеркиваем, что речь в данном случае идет о бессмыслице как отсутствии смысла (значения), а не как о нарушении «логики языка».

¹⁰ Там же. С. 33–34.

¹¹ Там же. С. 13.

¹² Там же. С. 33–34.

¹³ Там же. С. 35.

да под такой бессмыслицей? Фактически на одной странице Витгенштейн утверждает взаимно исключающие положения: тавтология «не может быть сочетанием знаков» и тут же — она является их определенным сочетанием (*Zeichenverbindung*). Заявление о том, что «тавтология и противоречие — предельные случаи соединения знаков, а именно его распад»¹⁴ только повторяет, но не проясняет парадоксальный статус тавтологии и противоречия. Между тем вопрос этот — принципиальный, ибо тавтологиями являются, по Витгенштейну, все предложения логики, которые, по этой причине, «ни о чем не говорят».¹⁵

Бес-смысленность логических (тавтологических) предложений, — поясняет далее Витгенштейн, — не следует понимать так, что они вообще ничего не говорят нам о мире. Было бы вернее сказать, что они «ни о чем не *повествуют* [*не трактуют*] [*“handeln” von nichts*]».¹⁶ Вместе с тем сам факт логической тавтологии «показывает формальные — логические — свойства языка, мира».¹⁷ Тавтологические предложения логики «описывают каркас мира, или же, скорее, они изображают его... Они предполагают, что имена имеют значение, а элементарные предложения — смысл. Это и есть их связь с миром».¹⁸ Здесь у Витгенштейна имеется противоречие с его же утверждением: «Предложение не способно изображать логическую форму, она отражается в нем. То, что отражается в языке, эта форма не может изобразить».¹⁹

То, что тавтологии не являются «картиной» действительности, не означает, что они являются произвольным сочетанием знаков и символов. Скорее, наоборот: «в логике не *мы* выражаем то, что хотим с помощью знаков; а выражает себя сама природа существенных и необходимых знаков».²⁰ Чтобы предложение было тавтологией, оно, по Витгенштейну, должно быть определенным образом составлено, т.е. быть логически структурированным. И тот факт, что «некоторые сочетания символов — с присущим им определенным характером — являются тавтологиями, должно как-то уведомлять о мире».²¹

Таким образом, Витгенштейн вынужден — играя терминами «описывать», «изображать», «уведомлять», «трактовать» и т.п. — ограничить бессмысленность логических предложений введением их логической осмысленности и формально-логической истинности. Специфическим признаком логических предложений, говорится в «Трактате», является то, что «их истинность может быть распознана по одному

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же. С. 58.

¹⁶ Там же. С. 62.

¹⁷ Там же. С. 59.

¹⁸ Там же. С. 62.

¹⁹ Там же. С. 25.

²⁰ Там же. С. 62—63.

²¹ Там же.

лишь их символу», тогда как «истинность или ложность нелогических предложений *нельзя* установить лишь из самих этих предложений». ²²

Бес-смысленность [Sinnlosigkeit] тавтологии и противоречия Витгенштейн обозначает также термином *bedeutungslos*, что можно перевести как *лишенный значения*. Это напоминает терминологию Фреге и может быть понято как беспредметность предложений, в которых, выражаясь словами Витгенштейна, отношения между знаками «несущественны для символа», но все же «принадлежат символике». В этой связи следует заметить, что в своей трактовке тавтологии и противоречия Витгенштейн в известной мере развивает идеи, высказанные до него Г. Фреге. Так, Фреге указывал на сводимость некоторых экзистенциальных суждений к тавтологиям. По Фреге, предложение «имеются люди» означает то же, что и «некоторые люди (есть) самождественны». Фреге отмечает некоторые характеристики тавтологических предложений, которые позднее воспроизводятся у раннего Витгенштейна. К примеру, Фреге подчеркивал, что ни одно из этих предложений нельзя отрицать, что, будучи беспредметными, они всегда и везде истинны. «Когда высказывают предложение “А самождественно”, то имеют перед собой лишь одну цель: выразить логический закон идентичности, но никак не узнать побольше об А». ²³ Вместе с тем Фреге, в отличие от Витгенштейна, не называет такие предложения *бес-смысленными* [sinnlos], ибо он строго разводит смысл [Sinn] и значение [Bedeutung], а беспредметность тавтологических выражений (т.е. отсутствие у них значения) не исключает для него их осмысленности в языке. Впрочем, как мы видели, и для Витгенштейна тавтология не бессмысленна [unsinnig] как раз потому, что выполняет в языке необходимую логическую функцию. Более того, квалификация тавтологий как бес-смысленных [sinnlos] предложений позволяет Витгенштейну увидеть их логическое родство с противоречиями, — положение, которое получило впоследствии плодотворное развитие в логике и лингвистике.

Итак, если бес-смысленность тавтологии и противоречия не означает, по Витгенштейну, отсутствия у них формально-логического смысла, тогда об отсутствии *какого* смысла идет речь при квалификации их как бессмысленных предложений? Здесь требуется уточнить понятие смысла. Смысл, по Витгенштейну, выражается *только* предложением, а предложение только тогда выражает смысл, когда оно спроецировано на реальную ситуацию. В самом же по себе предложении, взятом вне этой проекции, содержится не смысл, а только его формально-логическая возможность. Последний есть нечто фактуаль-

²² Там же. С. 59.

²³ Фреге Г. О существовании. Диалог с Пюньером // Фреге Г. Избранные работы. М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1997. С. 18.

ное, и выражающее смысл знак-предложение тоже есть «факт». «Выражать смысл, — подчеркивает Витгенштейн, — способны лишь факты, класс имен этого не может.»²⁴ Фактуальность предложения заключается в том, что оно представляет собой не смесь слов, а внутренне организованную структуру. При этом смысл предложения выражается не самими по себе знаками, входящими в его состав, но взаиморасположением предметов, которые эти знаки означают. Именно поэтому, утверждает Витгенштейн, «конфигурация простых знаков в знаке-предложении соответствует конфигурации объектов в определенной ситуации».²⁵

Таким образом, бессмысленность тавтологии и противоречия означает, что они не способны выразить *так* понятый смысл, хотя и остаются в сфере языка, составляющего формальную возможность смысла. Предложения вроде «Сократ есть Сократ» или «Сократ есть и не есть» (тавтологии и противоречия) бес-смысленны (*sinnlos*, *bedeutungslos*), но не бессмысленны [*unsinnig*]. Здесь еще нет оснований видеть у Витгенштейна пример языковой игры с терминами «бесмыслицы». Такая игра вообще исключена ввиду его общей логическо-трактовки языка. Некоторое «обигрывание» термина *Sinn* (*sinnlos*; *un-sinnig*) происходит отчасти из-за того, что Витгенштейн не проводит, как Фреге, различия между «смыслом» [*Sinn*] и «значением» [*Bedeutung*] и, соответственно, между бессмысленностью как отсутствием смысла [*sinnlos*] и бессмысленностью как отсутствием значения [*bedeutungslos*].

Было бы, однако, неточно трактовать витгенштейновскую бессмысленность [*Unsinnigkeit*] только как полную белиберду и абракадабру. Напротив, бессмысленные философские предложения, как их толкует Витгенштейн, вполне могут быть позволительны с точки зрения грамматики языка. И тем не менее их бессмысленность имеет отношение к нарушению его употребления. Предложение «Сократ тождественен», пишет Витгенштейн, потому ничего не значит, что нет свойства, которое бы называлось «тождественный». Это предложение бессмысленно [*unsinnig*], но не потому, что символ сам по себе недозволен, а потому, что к нему не добавлено никакого произвольного обстоятельства, потому что «слово “тождественен” как *прилагательное* не наделено *никаким* значением».²⁶ Это место «Трактата» часто истолковывают лишь в том смысле, что прилагательное «идентичный, тождественный» употребляется здесь неграмматично, вопреки нормальному употреблению, требующему дополнения: с кем (чем) тождественен Сократ?²⁷

²⁴ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат... С. II.

²⁵ Там же. С. 12.

²⁶ Там же. С. 46–47.

²⁷ Г.Х. фон Вригт задается вопросом: почему предложение-монстр «Сократ тождественен» характеризуется Витгенштейном не только как бес-смысленное [*sinnlos*],

Но Витгенштейн имеет в виду *не только* неграмматичность, когда говорит о бессмысленности такого рода предложений. Поясняя, почему слово «тождественен» лишено значения в указанном предложении, он пишет: «Ибо, выступая в качестве знака тождества, оно выполняет *совершенно иную символическую функцию* — обозначающая связь здесь другая — стало быть, и *символы в обоих случаях оказываются совершенно различными*; оба символа лишь случайно имеют общий знак». ²⁸ Напомним, что под символом в «Трактате» понимается «любая часть предложения, которая характеризует его смысл», а под знаком — «чувственно воспринимаемое в символе». ²⁹ Отсюда вытекает, что «у двух различных символов может быть общий знак», и что «в таком случае они обозначают различным образом». Именно этот случай мы и имеем в разборе приведенного предложения. Мы, стало быть, имеем случай, когда одним и тем же знаком «тождественен» два разных символа обозначают разные объекты. Какие два случая имеет здесь в виду Витгенштейн? Обычное истолкование: случай грамматического (нормального) и ненормального (неграмматического) употребления слова «тождественный». Но зачем тогда усложнять дело этим различием знака и символа? А ведь именно с этим различием связан весь философский пафос «Трактата»: провести границу мысли в языке, — границу, за которой лежит чуждая мысли сфера бессмыслицы [Unsinn].

Бессмыслица возникает, когда знак «проваливает» выполнение символической функции; в данном случае — знак «тождественен» не может выполнять символическую функцию прилагательного и выступать смысловой характеристикой предложения.

Но дело здесь не только в нарушении грамматических норм. Бессмыслица возникает и тогда, когда происходит подмена символов. А такие случаи имеют отношение уже не столько к знакам языка, сколько к его *логике* как выраженной в языке мысли. Первый (нормальный, осмысленный) способ, каким символ обозначает объект словом «тождественный», предполагает, что тождество есть отношение не между объектами, а между знаками. По этой причине тождество объекта Витгенштейн выражает «тождеством знака, а не знаком тождества». ³⁰ Второй (ненормальный, бессмысленный) способ, каким символ обозначает объект словом «тождественен», есть приписывание тождества самим объектам. Но, — утверждает Витгенштейн, — «сказать о *двух* пред-

но и как бессмысленное [unsinnig]? По мнению фон Вригга, «ответ, — данный, однако, не Витгенштейном, — гласит: потому что это предложение является неграмматическим, некорректно построенным предложением английского языка». См.: von Wright G. H. Remarks on Wittgenstein's Use of the Terms "Sinn", "Sinnlos", "Unsinnig", "Wahr", and "Gedanke" in *Tractatus* // Сокровенные смыслы: Слово, Текст, Культура. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 414.

²⁸ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат... С. 47.

²⁹ Там же. С. 13, 15.

³⁰ Там же. С. 51.

метах, что они тождественны, — бессмыслица (Unsinn), сказать же об *одном* предмете, что он тождественен самому себе, это вообще ничего не сказать»,³¹ т.е. выразить тавтологию как «дегенеративную истину». Обычный язык, а также язык старой логики и философии, полон, по Витгенштейну, такого рода подменами, когда «одно и то же слово осуществляет обозначение по-разному — следовательно, принадлежит к разным символам — либо же что два слова, обозначающих по-разному, внешне употребляются в предложении одинаково».³²

Есть определенный род символов, с которыми, по мысли Витгенштейна, особенно часто связаны указанные символические подмены. Это — символы, выражающие свойства так называемых формальных или мнимых понятий. Именно с ними, — по утверждению Витгенштейна, — смешивались во всей старой логике, порождая бессмыслицы, понятия в «собственном смысле слова».³³ Если нечто подпадает под формальное понятие в качестве его объекта, то это показывается самим знаком данного объекта. Другими словами, формальное понятие уже задается вместе с объектом, который под него подпадает.³⁴ И если выражение «имеется Библия» или «имеется книга» осмыслено, то бессмысленно, — убежден Витгенштейн, — задаваться вопросом о существовании формального понятия «объект», и ни одно предложение не может послужить ответом на подобный вопрос. Другими словами, если формальное понятие «объект» и существуют, то в совершенно другом смысле, чем Библия и книга. Там же, где слово «объект» употребляется как имя подлинного понятия [Begriffswort], а не как формальное понятие, всякий раз возникают «бессмысленные псевдопредложения». Поэтому говорить «имеется 100 объектов» — такая же бессмыслица, как утверждать « $2 + 2$ сегодня в 3 часа равно 4», причем сказанное применимо, по Витгенштейну, и к словам «комплекс», «факт», «функция», «количество» и т. д.³⁵

Итак, большинство вопросов, трактуемых как философские, формулируют не ложные, а именно бессмысленные [unsinnig] вопросы и предложения. «Вот почему на вопросы такого рода вообще невозможно давать ответы, можно лишь устанавливать их бессмысленность».³⁶ Таким образом, бессмыслица в смысле Unsinn коренится для раннего Витгенштейна в непонимании «логики языка», а не в самой этой логике. Проблема только в том, как понимать эту «логику языка».

Двусмысленность (если не парадоксальность) витгенштейновской «логики языка» проистекает из того, что она сопряжена в «Трактате»

³¹ Там же.

³² Там же. С. 15.

³³ Срав. различие логического и примитивного понятия у Фреге.

³⁴ Там же. С. 28.

³⁵ Там же. С. 28–29.

³⁶ Там же. С. 18.

с одним сильным условием: «то, что *выражает себя* в языке, мы не можем выразить *с помощью* языка». ³⁷ Другими словами, предложение не может изобразить собственную логическую форму, описать, что она такое, но только отразить или выразить ее в себе. Предложение вечно беременно мыслью, и оно не может сказать, как выглядит его «дитя». Но тем самым проблематичным становится статус логики, которая, получается, занимается исключительно бес-смысленными (лишенными значения) предложениями. Во всяком случае, под подозрением оказывается теория логических типов Рассела, которая не только высказывает нечто о логической структуре предложений, но и навязывает им учет иерархии логических типов. Ошибочность этой теории Витгенштейн усматривает в игнорировании Расселом того обстоятельства, что «ни одно предложение не может высказывать нечто о себе самом, ибо знак-предложение не может содержаться в себе самом». ³⁸ Здесь обнаруживается существенно разное понимание бессмысленного в расселовской теории типов и в «Трактате». У Рассела бессмысленным (но не ложным!) является утверждение, в котором класс всех понятий сам является понятием. У Витгенштейна бессмысленность [Unsinnigkeit] проистекает из описания и предикации в языке того, что в нем невозможно описать, чему невозможно придать какие-либо свойства. В этом, по Витгенштейну, состоит как раз бессмысленность всех философских предложений, ибо они систематически приписывают свойства логическим структурам.

Однако философские псевдопредложения тоже есть часть языка. Не отвечает ли тогда их существование какой-то особой языковой логике, не совпадающей с формальной логикой Фреге и Рассела? Этот вопрос Витгенштейн прямо не ставит, но он напрашивается его критикой теории логических типов Рассела и — прежде всего — положением «Трактата» о различии между видимой и действительной логической формой предложений. Это положение Витгенштейн, правда, приписывает Расселу, но дает весьма интересное толкование «видимой» логической форме повседневного языка: «Повседневный язык — часть человеческого устройства, и он не менее сложен, чем это устройство. Люди не в состоянии непосредственно извлечь из него логику языка. Язык переодевает мысли. Причем настолько, что внешняя форма одежды не позволяет судить о форме облаченной в нее мысли; дело в том, что внешняя форма одежды создавалась с совершенно иными целями, отнюдь не для того, чтобы судить по ней о форме тела». ³⁹

Получается, что «действительная логическая форма» — это и есть та самая «логика языка», которую не понимает философия, производящая бессмысленные предложения. Но отражение мысли в язы-

³⁷ Там же. С. 25.

³⁸ Там же. С. 16.

³⁹ Там же. С. 18.

ке Витгенштейн отнюдь не понимает как механический процесс или, по крайней мере, как процесс, безынтересный для самой логики. Напротив, здесь обнаруживается парадоксальный статус понятия «логики языка»: чем больше оно утверждает бессмысленность видимой, поверхностной логической формы языка, тем интереснее становится эта форма по сравнению с «действительной логической формой». Для последней чрево языка оказывается и могилой; ведь о логической форме в языке ничего высказать нельзя. А о чем невозможно сказать, о том следует молчать. С другой стороны, интересно выяснить, какими принципами руководствуется язык, переодевая возникающие в нем мысли. И если это важный для самого языка опыт, то можно ли тогда вообще построить логически строгий язык, свободный от бессмысленных предложений, не понимающих его «истинную» логику? Этот вопрос тем более не случаен для контекста витгенштейновских рассуждений, если учесть, что смысл и мысль не существуют для Витгенштейна вне предложения. Они не просто отражаются, но именно совершаются в языке, находящемся «в проективном отношении к миру». ⁴⁰ Получается, что язык для мысли — дом родной, хотя еще большой вопрос, является ли мысль в этом доме «хозяйкой», и если является, то на каких «правах»?

Из витгенштейновской критики Рассела неизбежно следует несводимость логических отношений (структур) к семантике повседневного языка и, соответственно, несводимость логических парадоксов — к семантическим. Это хорошо видно в случае парадокса лжеца. В этом случае учение о логических типах не может быть применено для устранения парадокса, так как слова и словообразования не обнаруживают иерархии логических типов, сравнимой с той, какую подразумевает теория Рассела—Уайтхеда. Любопытно, как творчески среагировал Рассел на витгенштейновскую критику: в своем Предисловии к американскому изданию «Логико-философского трактата» (1951) он связал трудности разрешения логических парадоксов с мыслью Витгенштейна о том, что «каждый язык обладает структурой, о которой *в самом языке* не может быть ничего высказано». Но возможно, добавляет Рассел, что «существует другой язык, который трактует о структуре первого языка и сам обладает новой структурой; возможно, что эта иерархия языков бесконечна». ⁴¹ Тем самым Рассел высказывает здесь идею, развитую позднее Карнапом и Тарским в теории языковых ступеней с ее базисным различием объектного языка и метаязыка. ⁴²

⁴⁰ Там же. С. II.

⁴¹ Цит. по: Watzlawick P., Beavin J. H., Jackson D. D. *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien*. Huber: Bern-Göttingen-Toronto-Seattle, 10., unveränd. Auflage, 2000. S. 177.

⁴² Рассмотрение этой темы в аспекте бессмысленности самореферентных предложений, равно как интерпретация логических парадоксов в теории речевых актов и в теории парадоксальной коммуникации, выходит за рамки настоящей статьи.

Тезис Витгенштейна о том, что нельзя мыслить нелогично, что язык препятствует любой логической ошибке, что логика присуща ему априорно, — такая очевидная «логизация» языка грубо противоречит лингвистической интуиции. Для последней языковая картина мира (лексическая семантика) не совпадает ни с ценностной, ни с логической картиной мира. Логицистская трактовка языка и его бессмыслиц натолкнулась — еще задолго до появления витгенштейновского «Трактата» — на критику в философии языка брентановской школы: у А. Марти, А. Мейнонга, Э. Гуссерля.⁴³ Впрочем, лучшую критику этой позиции дал сам Витгенштейн в своих позднейших «Философских исследованиях». Специальное рассмотрение этих сюжетов выходит за рамки данной статьи, хотя отчасти мы коснемся данной темы при анализе гуссерлевской трактовки языковых бессмыслиц. Но прежде чем перейти к Гуссерлю, есть смысл обратиться к его учителю, Г. Фреге, а именно к тому аспекту его понимания бессмысленных утверждений, который представляется важным в контексте нашего разговора.

2. Г. Фреге о бессмысленности псевдоимен и осмысленности абсурдов

Витгенштейновское понимание бессмысленности [Unsinnigkeit] языковых выражений в известной мере является развитием размышлений Фреге о логически неправомерном употреблении лишенных значения «псевдоимен». «Следует, — писал Фреге, — разделять два совершенно разных случая, которые легко перепутать, поскольку в обоих говорится о *существовании*. В одном случае речь идет о том, обозначает ли имя (собственное) нечто, является ли оно именем для чего-то; а в другом — о том, охватывает ли понятие какие-либо предметы. Когда употребляется слово “существует”, имеется только этот последний случай».⁴⁴ Другими словами, в *логике* позволено задаваться вопросом о существовании объектов только с точки зрения охватывающих их понятий (или обозначающих эти понятия слов), а не с точки зрения имен собственных. Здесь нужно иметь в виду ограничения, которые Фреге вводит для имен собственных в логике. Во-первых, их значением может быть только определенный *предмет* (в самом широком смысле этого слова), а не *понятие*.⁴⁵ Во-вторых, «собственное имя, которое ничего не обозначает, не имеет логического оправдания, так как в логике речь идет об истине в наиболее строгом смысле этого слова» (другими

⁴³ См. к примеру: Марти А. Об отношении грамматики и логики // Логос. 2004. № 1 (41). С. 138–168.

⁴⁴ Frege G. Kritische Beleuchtung einiger Punkte in E. Schröders Vorlesungen über die Algebra der Logik (1895) // Frege G. Kleine Schriften (Hrsg. von I. Angelelli). Georg Olm: Hildesheim, 1967 (S. 193–211). S. 208.

⁴⁵ Фреге Г. Смысл и значение // Г. Фреге. Избранные работы... С. 26.

словами, истинностным значением выражений Фреге считает именно предмет).⁴⁶ В своем критическом разборе лекций по алгебре логики Э. Шредера Фреге проводит различие между противоречивыми (абсурдными) и бессмысленными утверждениями. Он цитирует Шредера: «*Ничто* является субъектом для каждого предиката: Ничто является черным, но одновременно ничто и не является черным». И дает свой комментарий: «Утверждения вида “*a* есть *b*” и “*a* не есть *b*” несомненно образуют противоречие. Возможно, г-н Шредер добавил бы: если они не бессодержательны; но тогда эти утверждения оказываются вообще не утверждениями, а бессмыслицей [Unsinn], которую логика может, самое большее, как таковую отметить, но ни в коем случае не имеет права использовать». ⁴⁷ Стало быть, бессмыслица не в том, что «ничто» одновременно является и не является черным. Это лишь логически противоречиво (абсурдно). Бессмысленно же приписывать «ничто» содержательный предикат «черный», если известно, что оно лишено значения. Выражение «Ничто является черным» есть поэтому не ложное, а именно бессмысленное выражение; ему не просто не соответствует какой-то предмет, но и не может соответствовать. А вот если бы утверждение «Ничто является черным, но одновременно Ничто и не является черным» было бессодержательным (как в примере Фреге), то это было бы простое противоречие, которое в логике вполне легитимно.

По убеждению Фреге, было бы смешением двух принципиально разных случаев — называть равно бессмысленным [sinnlosen, unsinnigen] как «ничто» из вышеуказанного предложения, так и выражение типа «круглый квадрат». Последнее, подчеркивает Фреге, «является не пустым именем, а именем пустого понятия, т.е. не лишено значения, как, например, в предложениях “Не существует круглых квадратов”, “Луна не является круглым квадратом”». ⁴⁸ Отсюда следует один интересный (в свете нашего последующего изложения) вывод: даже такие абсурдно противоречивые имена как «круглый квадрат», если они суть имена четко очерченных понятий, оказываются в логике оправданными, т.е. бессмысленными. При этом, как ясно заявляет Фреге, не имеет значения, охватывают ли эти понятия какие-то предметы или нет, т.е. суть ли они полные или пустые понятия. ⁴⁹ Здесь требуется два небольших пояснения относительно того, как понимает Фреге «имя понятия» и «пустое понятие».

У Фреге «имя понятия» — это не общее имя для какой-то совокупности реальных предметов; оно вообще не относится к предметам так же непосредственно, как имя собственное — к своему (отдельно-

⁴⁶ Frege G. Kritische Beleuchtung... S. 208.

⁴⁷ Ibid. S. 205–206.

⁴⁸ Ibid. S. 208.

⁴⁹ Ibid. S. 209.

му) предмету. Отношение имен понятий к предметам осуществляется только через понятия. К примеру, «Слово “планета” вовсе не непосредственно относится к Земле, оно относится к понятию, под которое — помимо всего прочего — подпадает и Земля». ⁵⁰ Соответственно, *значением* имени понятия выступает не предмет, охватываемый этим понятием, но *само понятие*. «От имени понятия до предмета, — поясняет Фреге, — одним шагом больше, чем в случае имени собственного, и этот последний шаг может отсутствовать — т. е. понятие может быть пустым, — однако тем самым имя понятия не перестает использоваться в науке». ⁵¹

При такой трактовке имени понятия становится яснее, почему оно не оказывается бессмысленным при использовании его для пустых понятий. Но почему логически оправданы (не-бессмысленны) сами пустые понятия, тем более такие абсурдные понятия, как «круглый квадрат»? И не получается ли так, что Фреге сводит научное понятие к математическим понятиям, оставляя нерешенным вопрос о соотношении понятий математики с понятиями, к примеру, физики? Позднее Витгенштейн постулирует в этом вопросе тезис: «Вполне можно пространственно изобразить какое-то событие, противоречащее законам физики, событие же, противоречащее законам геометрии, — нельзя». ⁵² Да, на этом вот листе бумаги невозможно изобразить «круглый квадрат» или вычислить квадратный корень из -1 . Эти выражения не имеют здесь значения как имена собственные, но они значимы как имена соответствующих понятий, говорит Фреге. Но если эти понятия пусты (т.е. не имеют предметного значения), имеют ли они вообще какое-то *иное* значение?

Да, утверждает Фреге, и это есть именно *логическое* значение, которое не совпадает с примитивным пониманием понятия как наименования класса, состоящего из индивидов. В отличие от такого понимания, у Фреге «объем некоторого понятия находит свой состав не в индивидах, а в самом понятии, т. е. в том, *что* высказывается о предмете, когда он подводится под понятие. Тогда можно без всяких опасений говорить о классе предметов, которые суть *b*, и в случае, если нет никаких *b*», ⁵³ т.е. говорить о пустом понятии. Понятие в том смысле «пусто», что оно не охватывает ни одного из реальных предметов, но это еще не мешает ему быть в логическом плане полным. В математической логике, замечал Фреге, ничто не мешает нам использовать квадратный корень из -1 как понятие, хотя выражение «вот этот квадратный корень из -1 » не имеет значения как имя собственное. ⁵⁴

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Фреге Г. Письма Г. Фреге Э. Гуссерлю // Г. Фреге. Избранные... С. 154.

⁵² Витгенштейн Л. Логико-философский трактат... С. II.

⁵³ Frege G. Kritische Beleuchtung... S. 206–207.

⁵⁴ Фреге Г. Письма... С. 154–155.

То же самое, видимо, можно сказать и о значимости таких пустых понятий как «круглый квадрат» или «квадратура круга». По Фреге, не только в художественном языке они могут получить *смысл*; они могут также обрести *значение* и в научной логике. С этих позиций Фреге критикует Гуссерля, приписывая ему довольно плоскую схему, в которой «между именем собственным и именем понятия различие состояло бы только в том, что имя собственное могло бы указывать только на один предмет, а имя понятия — на многие предметы». Как следствие, Гуссерль должен был бы отвергать научную значимость имен пустых понятий.⁵⁵ Следует, однако, заметить, что по крайней мере в «Логических исследованиях» трактовка выражений типа «круглый квадрат» гораздо сложнее и интереснее, чем это представляется схемой Фреге. К тому же Гуссерль решает в своей феноменологии несколько иные задачи, чем Фреге в своем логическом анализе языка.

Пример бессмысленного предложения у Фреге («Ничто является черным») относится к типу выражений, которые приводит Витгенштейн: « 2×2 в 3 часа = 4», т.е. близко развиваемому Витгенштейном понятию бессмысленных (*unsinnig*) предложений, происходящих из «фундаментальных смещений» в рамках логики языка, т.е. из непонимания этой логики. Пример тому — разные логические смыслы того же слова «существование», которые смешиваются в обыденном языке, или смешение формальных понятий с реальными в философии и т.д.

Поэтому неслучайно, что оба мыслителя едины в своем стремлении разработать строгий логический язык, свободный от бессмыслицы (*Unsinn*) в оговоренном выше смысле. Витгенштейн, констатируя указанные «фундаментальные смещения», призывает употреблять включающий их «знаковый язык, подчиняющийся *логической* грамматике — логическому синтаксису». Речь идет о языке, в котором бы «не применялись одинаковые знаки для разных символов и не использовались внешне одинаковым образом знаки с разными способами обозначения»⁵⁶. О необходимости «логически совершенного языка» пишет и Фреге, требуя от него не просто однозначности выражений, но полного исключения лишнего значения «псевдоимен». Именно подмена такими именами настоящих, значимых имен дает в результате бессмыслицу. Псевдоимена, убежден Фреге, «даже в большей степени, чем неоднозначные выражения, способствуют демагогическому злоупотреблению языком. “Воля народа” может служить этому хорошим примером: легко можно установить, что у этого выражения нет никакого, по крайней мере общепринятого, значения».⁵⁷ Здесь крайне любопытен приводимый Фреге пример с «волей народа» — возможно, он бросает свет на социально-политическую подоплеку самой идеи ло-

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат... С. 15.

⁵⁷ Фреге Г. Смысл и значение... С. 40.

гической «терапии» языка. Ведь со строго логической точки зрения употребление политических понятий и в самом деле должно казаться безграничным царством бессмыслицы. Однако с точки зрения самого языка заклеиваемое Фреге «демагогическое злоупотребление языком» является вполне нормальным, законным явлением, относясь не только к *злоупотреблению* языком, но вообще к его *употреблению*, к «*language-in-use*». ⁵⁸ Но хотя борьба с демагогическими злоупотреблениями бессмысленна в языке как таковом, все же остается открытым вопрос о том, насколько она может быть плодотворной или вообще осмысленной в языке науки.

То, что Витгенштейн и Фреге называют «бессмысленными» [un-sinnig] выражениями, есть в значительной мере конструкт их логистической трактовки языка, их стремления построить логически «правильный» язык, абсолютно необходимый, по крайней мере, для науки. Однако и для понимания места бессмыслицы в семантике живого языка оказываются небезынтересными важные дистинкции, вводимые Фреге и Витгенштейном. У Фреге — это прежде всего различие между смыслом и значением (соответственно, между беспредметностью как отсутствием истинностного значения и бессмысленностью как отсутствием смысла). Причем его выделение знаков, наделенных только смыслом (т.е. знаков-образов в языке художественного вымысла, где вопрос о значении не важен) ⁵⁹ открывает интересную смысловую перспективу даже для необоснованных (нелепых) выражений с точки зрения «логически совершенного языка». В связи с этим оказывается также важным для анализа роли бессмыслиц в семантике языка и проводимое Фреге различие между противоречивыми именами пустых понятий (вроде *круглый квадрат*) и абсурдными, т.е. логически необоснованными выражениями (вроде *Ничто является зеленым*). Витгенштейн же интересен прежде всего своей идеей лишенных значения («бес-смысленных») предложений, отличных от «бессмысленных» предложений, недопустимых в «логике языка».

3. «Абсурд» и «нонсенс» в феноменологии языка Э. Гуссерля

В своей «Логике смысла» Делез обошелся не совсем справедливо с Гуссерлем, когда, во-первых, приписал исключительно Мейнонгу заслугу в разведении понятий нонсенса и смысла; ⁶⁰ и, во-вторых, заявил, что расселовское различие между двумя формами нонсенса ему более предпочтительно, чем гуссерлевское различие между «нонсенсом» и

⁵⁸ См. о понятии «языковой демагогии»: Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 461 и далее.

⁵⁹ Фреге Г. Смысл и значение... С. 32.

⁶⁰ Делез Ж. Логика смысла. М.: Академия, 1995. С. 53.

«контрсмыслом», потому что последнее якобы «очень общее». ⁶¹ По поводу второго суждения можно заметить, что гуссерлевская постановка вопроса вообще не вписывается в чисто логическую постановку, характерную для расселовских парадоксов теории множеств. Она, скорее, ближе той, которую позднее стала развивать лингвистика. Недаром же Р. Якобсон сказал о «Логических исследованиях», что «эта работа до сих пор является одним из самых вдохновенных вкладов в изучение феноменологии языка». ⁶² К этому надо добавить, что и у Рассела понятие бессмыслицы не сводится к содержанию известных парадоксов теории множеств, но включает в себя и ряд других идей, сопоставимых с пониманием бессмысленного у Фреге, Гуссерля и раннего Витгенштейна.

Введенное Г. Фреге различие между «смыслом» и «значением» давно стало хрестоматийным, но от этого не менее важным для анализа предложений языка, лишенных смысла и/или значения. Вводя указанное различие, Фреге сразу же заметил, что «найдутся предложения, которые — также, как и некоторые их части — имеют смысл, но не имеют значения». ⁶³ Тем самым была намечена интереснейшая область логико-философских исследований.

Хотя Гуссерль отвергает вводимое Фреге различие между «смыслом» [Sinn] и «значением» [Bedeutung], трактуя эти термины как синонимы, ⁶⁴ он в известном смысле продолжает тему, намеченную в рассуждениях Фреге. Почему значение и смысл оказываются у Гуссерля синонимами? — Потому что для него «предмет никогда не совпадает со значением». ⁶⁵ Сфера значения есть логическая тавтология (психологически, правда, содержательная): значение есть «содержание» того выражения, которое «обозначает (называет) предмет посредством своего значения». ⁶⁶ Под «содержанием» здесь понимается «идеальный коррелят с одним и тем же предметом, который, впрочем, может быть совершенно фиктивным». ⁶⁷ Таким образом, Гуссерль существенно усложняет (в психологическом смысле) логическое понятие значения у Фреге.

Исходная схема Гуссерля в трактовке речевых бессмыслиц выглядит следующим образом. В «объективном содержании», изъявляемом

⁶¹ Там же. С. 92. Историко-философская экспертиза делезовских оценок, в частности, связанная с понятиями «бездомных» и «невозможных» объектов у Мейнонга, выходит за рамки данной статьи.

⁶² Якобсон Р. Часть и целое // Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 301.

⁶³ Фреге Г. Смысл и значение... С. 31.

⁶⁴ Husserl E. Logische Untersuchungen. Zweiter Band, I. Teil. Halle: M. Niemeyer, 1922. S. 52 f.

⁶⁵ Ibid. S. 46.

⁶⁶ Ibid. S. 49.

⁶⁷ Ibid. S. 52.

любым речевым выражением, Гуссерль выделяет три модуса, причем невозможность реализации какого-то одного из этих модусов дает соответственно три вида бессмысленности (в широком смысле этого слова):

1. Содержание как интендирующий смысл или как просто смысл. Невозможность интендирующего смысла дает бессмыслицу-абракадабру, нонсенс.
2. Содержание как выполняющий смысл. Содержание понимается здесь как идеальный коррелят предмета, который сам по себе может быть фиктивным. Невозможность выполняющего смысла есть абсурд, нелепица.
3. Содержание как предмет. Отсутствие предметного содержания дает бессмыслицу в смысле беспредметного высказывания, т.е. чистого вымысла.

К сущности выражения, пишет Гуссерль, относится то, что оно имеет значение. Выражение, лишенное значения, вообще является не выражением, а словесной абракадаброй. «В значении устанавливается отношение к предмету. Следовательно, осмысленно употреблять выражение и выражать свое отношение к предмету суть одно и то же. И при этом неважно, существует ли данный предмет реально, есть ли он фикция, и возможен ли он вообще». ⁶⁸ Гуссерль, явно имея в виду Фреге, замечает, что часто значения неправомерно отождествляют с означаемыми предметами. Следствием этого является отождествление бессмысленного (т.е. того, что лишено значения) и беспредметного. «Если значение, — пишет Гуссерль, — отождествляется с предметностью выражения, тогда такое выражение, как *золотая гора*, лишено значения». ⁶⁹ Если смысл выражения подразумевает не просто представимый, но и реально допустимый, однако фактически не существующий предмет, то такое выражение в обычном языке часто также считается бессмысленным (абсурдным). К примеру, *Атлантический мост* (мост через Атлантический океан), или — пример самого Гуссерля — *золотая гора* (гора из чистого золота). В современном политическом дискурсе примером таких абсурдных понятий могут служить *арабская* (российская, европейская, евразийская и т.п.) *нация*. Но уже проблематичным представляется отнесение к этому типу примеров выражений вроде *либеральная империя*, *управляемая демократия* и т.п., потому что *золотая гора* или *российская нация* суть выражения, значению которых хотя и не соответствует, но в принципе *может* соответствовать реальный предмет. А вот возможность существования либеральной империи без сущностного изменения смысла либерализма или импе-

⁶⁸ Ibid. S. 54.

⁶⁹ Ibid. S. 54—55.

риализма уже кажется проблематичной. Тем не менее беспредметные выражения вроде *золотой горы* тоже иногда называют абсурдными или бессмысленными, и причина этого кроется в убеждении, что такие предметы никак невозможны с точки зрения *актуальных реалий*. Однако они ведь могут быть реальны *в принципе*, и это, по мысли Гуссерля, отличает такого рода выражения от абсурдных выражений вроде *круглый четырехугольник*.

Но можно ли считать эти абсурдные выражения совершенно бессмысленными? А. Марти не без основания отмечал, что если бы такого рода предложения были абсолютно лишены смысла, тогда мы не могли бы даже задаваться вопросом о том, существует ли на самом деле то, о чем они говорят: *реальные* круглые треугольники и т.п. В этой связи — и с опорой на А. Марти, заметившего, что «если такого рода абсурдности [Absurditäten] называют бессмысленными [sinnlos], то это могло бы означать лишь то, что у них нет явно разумного смысла...»,⁷⁰ — Гуссерль вводит свое известное различие между бессмыслицей (нонсенсом) [das Sinnlose, das Unsinnige] и абсурдом (контрсмыслом) [das Absurde, das Widersinnige]. «Бессмысленность», понимая как абсурдность (нелепость) [als Absurdität (Widersinn) verstandene “Sinnlosigkeit”] тоже конституируется в смысле, есть часть смысловой сферы: к смыслу абсурдного выражения относится то, что оно мыслит [meint] объективно несовместимое». ⁷¹ И далее: «Сочетание слов *круглый четырехугольник* и в самом деле дает единое значение, которое свой способ “существования”, бытия имеет в “мире” идеальных значений». ⁷² Абсурдность этих значений заключена не в том, что они вообще не имеют никакого смысла, а в том, что их *идеальным* смыслам *не может* соответствовать никакой *реально существующий предмет*, что у них нет и *не может быть предметного* смысла. ⁷³ Причем для Гуссерля именно «аподиктически достоверно», что абсурдному существующему значению не может соответствовать никакой существующий предмет. ⁷⁴

Таким образом, в абсурдном (нелепом) выражении есть единое значение, хотя нет и быть не может «предмета (вещи, положения дел), в котором бы объединялось все то, что единое значение в силу несовместимых между собой значений представляет объединенным в предмете». ⁷⁵ В случае же бессмыслицы (нонсенса) такого единого значения вообще не может возникнуть. Здесь возможность самого единого значения не допускает того, чтобы в ней сосуществовали различные

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid. S. 67.

⁷² Ibid. S. 326.

⁷³ Ibid. S. 54.

⁷⁴ Ibid. S. 326.

⁷⁵ Ibid. S. 327.

частичные значения. Сочетание слов вроде «круглый или ту семь да» может пробудить только не прямое представление о «некоем» значении, но вместе с тем оно с очевидностью показывает, что единого значения здесь нет и быть не может. Здесь возникает только «не прямое представление, нацеленное на синтез такого рода частичных значений в одно значение, но одновременно и понимание того, что такому представлению не может соответствовать никакой предмет». ⁷⁶ Заметим сразу же, что такая ситуация, с другой стороны, открывает большие возможности реципиентов домысливать такие частичные значения до единого возможного значения, что крайне востребовано в эстетической коммуникации.

Различие между смыслом и значением, из которого вытекает у Фреге естественность (для логики языка) осмысленных, но лишенных значения выражений, не совпадает с гуссерлевским различием между нонсенсом и абсурдом. Гуссерль вообще не проводит различия между смыслом и значением, как бы сосредотачивая свой (феноменологический) интерес всецело на сфере смысла языковых выражений, так что вся проблематика абсурда приобретает у Гуссерля именно феноменологический, а не собственно логический вид. Вместе с тем Гуссерль близок к Фреге, когда он отказывается отождествлять абсурдность с беспредметностью лжи, оставляя абсурдным выражениям типа «круглый квадрат» право на законное существование в сфере «идеальных значений», т.е. в семантике языка в широком смысле. Тем самым Гуссерль несколько отходит от проблемы пустоты и абсурдности научных понятий (по крайней мере, как она формулируется у Фреге), зато оказывается ближе к проблеме семантических аномалий языка, получившей впоследствии плодотворное развитие в языкознании.

Отмечая интенциональность значений, Гуссерль рассматривает интенциональность как категориально оформленный акт; речь идет о категориях, в которых коренится многообразие априорных «законов значения», нейтральных по отношению к реальной или формальной истинности (предметности) значений (смыслов), но имеющих специальную функцию отличать смысл от бессмыслицы [Unsinn]. Эти априорные «законы значения» Гуссерль называет «законами чистой логической грамматики», т.е. рассматривает их как часть «чистой логики» и предпосылает их в качестве априорного условия логическим (в обычном и точном смысле) законам. И если законы значения (для Гуссерля — смысла) позволяют сознанию противиться бессмыслице [Unsinn], то законы логики позволяют ему предотвращать формальный (аналитический) контрсмысл [Widersinn], формальную абсурдность [Absurdität]. Если чисто логические законы указывают на то, что а priori и на основе чистой формы требует возможного *единства*

⁷⁶ Ibid.

предмета, то законы совокупностей значений определяют то, что требует чистого *единства смысла*, т.е. по каким априорным формам значения различных категорий значения объединяются в одно значение, вместо того чтобы оказываться бессмысленным хаосом.⁷⁷

Гуссерль стремится конкретнее рассмотреть соотношение априорных законов, относящихся к «установлению существенных форм значения», и тех законов, «которые, ограничившись осмысленными значениями, касаются их *предметной возможности и истинны*». Законы значения, замечает Гуссерль, оставляют совершенно открытым вопрос о том, являются ли значения, с необходимостью возникающие в таких формах, принципиально «предметными» или «беспредметными». Эти законы только выполняют функцию отличия смысла от бессмыслицы. Бессмыслицу здесь надо понимать в строгом смысле этого слова: как нонсенс, абракадабру, как отсутствие смысла, — как, например, в «выражении» (пример Гуссерля) *König aber oder ähnlich und* [*Король но или сходно и*]. Каждое из этих слов имеет смысл, но вся композиция — никакого смысла, поэтому она не является в строгом смысле выражением. Априорная согласованность или несогласованность значений высказывает возможность или невозможность *бытия означиваемых предметов* (бытийную совместимость или несовместимость означиваемых предметных определенностей), — в какой мере эта согласованность обусловлена собственной сущностью значений и тем самым с аподиктической очевидностью познаваема из этой сущности.⁷⁸ Ранее Гуссерль замечает, что абсурд (в отличие от абракадабр-бессмыслиц) есть «априорная невозможность выполняющего смысла».⁷⁹

Гуссерль ставил себе в заслугу разработку понятийного инструментария, позволяющего четко определить, с одной стороны, противоположность между объективно непротиворечивым (сообразно значению) смыслом и логическим абсурдом [*Widersinn*], а с другой — противоположность между смыслом и нонсенсом [*Unsinn*] как полным отсутствием смысла. Соответственно, отсюда следует указанное выше различие между абсурдом и нонсенсом. При этом Гуссерль подчеркивал, что вводимые им терминологические дистинкции не совпадают с обыденным употреблением соответствующих слов. В повседневном немецком языке (как и в русском) термины бессмыслица, абсурд, нелепость, нонсенс и т.п. употребляются как синонимы.

Сверх указанных различий, Гуссерль также вводит в сферу бессмысленных выражений — по аналогии с кантовской типологией суждений — различие между *материальным (синтетическим)* абсурдом и абсурдом *формальным (аналитическим)*. За первый вид абсурда у Гуссерля «должны расплавиваться» [*haben aufzukommen*] вещные понятия

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid. S. 334.

⁷⁹ Ibid. S. 56.

(«конечные вещные ядра значений»), как это, например, имеет место в предложении *Четырехугольник является круглым*, а также в «любом ложном предложении чисто геометрического свойства». ⁸⁰ При этом надо иметь в виду, что синтетические «априорные» законы содержат, по Гуссерлю, вещные понятия и привязаны к ним в своей значимости. Под формальным (аналитическим) абсурдом Гуссерль подразумевает «чисто формальную, объективную несовместимость, коренящуюся в самой сущности категорий значения и не зависящую от какой-либо «материи познания»». ⁸¹ Сюда Гуссерль относит формально-логические законы вроде закона противоречия, которые в нормативном своем применении выступают законами, предотвращающими формальный абсурд.

Гуссерлевское понятие материальных (синтетических) абсурдов представляется недостаточно четким. Когда речь идет об априорно-синтетических положениях, — а ведь это имеется в виду и в отношении материальных абсурдов, — тогда совершенно двусмысленным становится роль «вещных» (т.е. эмпирических) понятий. Они «должны расплачиваться» за этот вид абсурда, ибо без привязки к ним синтетические априорные законы, в том числе и закон материального абсурда, теряют свою значимость. Что значат тогда эти «вещные понятия» и что скрывает за собой эта метафоричность («расплачивающиеся» понятия) в определении материального абсурда? Почему априорно-синтетические абсурды зависят в своей значимости от вещных понятий, если они (согласно общему понятию абсурда) должны с аподиктической достоверностью отрицать саму возможность существования соответствующего им предмета, т.е. должны утверждать априорную невозможность своего «выполняющего смысла»? Получается, что невозможность предметного существования (реального бытия) круглого квадрата должна с очевидностью следовать из априорной несовместимости круглого и квадратного. С другой же стороны, получается, что значимость выражения «круглый квадрат» должна зависеть от вещных понятий круглого и квадратного. Следует ли это понимать так, что круглые предметы не совместимы с квадратными по своей (онтологически данной) природе, поэтому логика с аподиктической достоверностью считает их несовместимыми и не способными иметь (а не просто не имеющими!) предметного значения?

Допустим, что априорно логика делает невозможным существование круглых квадратов в предметном мире. Но о какой априорной логике идет здесь речь? О логике классической (евклидовой) геометрии, отнесенной Кантом к синтетическим суждениям *a priori*? Но понятие логического вряд ли может ограничиваться только этим видом

⁸⁰ Ibid. S. 335.

⁸¹ Ibid.

логики. Ведь евклидова геометрия, основанная на своих аксиомах, не может признать в качестве осмысленных постулаты неевклидовой геометрии. Если в случае нонсенса речь идет о «несовместимости представлений», а в случае абсурда — о «несовместимости предметов»,⁸² тогда в случае материальных (синтетических) абсурдов остается неясным, откуда происходит эта несовместимость предметов: из них самих, из «вещных понятий» о них или из априорных логических законов? Во всяком случае, «априорность» материальных абсурдов оказывается здесь двусмысленной.⁸³ Одним словом, гуссерлевское отличие материального абсурда от беспредметности представляется не совсем прозрачным. Материальный абсурд можно рассматривать как частный случай беспредметности, а само различие между абсурдом и беспредметностью может позднее обнаружиться в ограниченности наших знаний о мире, а не в природе самого этого мира или априорных знаний о нем.

Далее, выражения, подпадающие под гуссерлевское понятие априорно-синтетических абсурдов — это не только «псевдогеометрические» понятия вроде *круглого четырехугольника*, но также выражения типа *желтый логарифм* или *горячий лед*. Однако эти выражения существенно отличаются от геометрических выражений по своей смысловой структуре. Не совсем понятно, почему в первом случае, т.е. в случае «круглых квадратов», за абсурдность геометрического положения должны расплачиваться «вещные понятия». Если в определенной математической модели мира не может быть круглых квадратов, то почему их не должно быть в предметном (вещном) мире? Или наоборот: если в математическом пространстве есть круглые квадраты, почему бы им не быть и в пространстве физическом? Понятно даже дилетанту, что искривление физического пространства, вытекающее из теории относительности, лучше описывается геометрией Лобачевского, чем геометрией Евклида. А еще лучше — геометрией Римана. Но особенно эта последняя оказывается полным абсурдом с точки зрения евклидовой геометрии. Но разве эта абсурдность не является абсурдностью только в рамках обычной аристотелевской логики и классической научной картины мира? Даже если существенно релятивировать различие между абсурдностью и беспредметностью, оно остается важным, ибо обнаруживает принципиальные рубежи нашей актуальной картины мира. В этой связи требует также прояснения вопрос о том, в каком отношении находится реальность математических объектов к реальности гуссерлевских «существующих предметов».

⁸² Ibid. S. 327.

⁸³ Возможно, именно поэтому Гуссерль берет слово «априорные» в кавычки, когда в случае материального абсурда пишет о нарушении «априорных» синтетических законов (Ibid. S. 335).

Непонятно также, в каком смысле во втором и третьем из вышеприведенных случаев можно говорить о нарушении *апприорного* закона в отношении вещных понятий, сочетаемых чисто *опытным* путем или в силу чисто *эстетических* соображений. Формально-логическая противоречивость указанных выражений может быть признана, если мы введем формальные определения соответствующих терминов. Но эти выражения могут также иметь эстетический смысл, как выражения *любовь-ненависть, заклятые друзья, потерпеть победу* и т.д. За такими выражениями стоит реальная парадоксальность и противоречивость самого предмета (события, ситуации) или вымышленная метафоричность как чисто речевой прием. Но тогда эти выражения не будут ни абсурдами, ни нонсенсами (в терминологии Гуссерля), а будут представлять собой нечто третье, некий новый вид бессмысленности.

Наконец, и к беспредметности можно подойти более дифференцированно, чем это делается в «Логических исследованиях». С одной стороны, кажется убедительным, что абсурдное нельзя смешивать с беспредметным. Но с другой стороны, где пролегает граница между ними? Беспредметность выражений вроде *российская нация* — это просто беспредметность; беспредметность же *Атлантического моста* уже содержит абсурдный элемент: «российской нации» нет, но ее бытие возможно или даже целесообразно с определенной точки зрения, а кому придет в голову строить мост через Атлантический океан?

Немало хлопот доставляет логикам и беспредметность литературного и прочего *вымысла*. Являются ли предложения вроде хармсовского «все сыновья Пушкина были идиотами» просто ложными или бессмысленными? У Гуссерля на этот вопрос тоже нет ясного ответа. Рассел, как известно, считал эти предложения бессмысленными (вспомним его знаменитый пример из «Введения в философию математики»: *Нынешний король Франции лыс*). Для Фреге и Витгенштейна ложность таких предложений вообще не казалась проблемой, а Дж. Остин, напротив, связывал «поворот в философской мысли» именно с интересом к «возмутительным» утверждениям о вымышленных объектах, утверждениям, «которые нельзя назвать ложными или хотя бы противоречивыми». ⁸⁴ Но чем «чистый вымысел» отличается от *абсурдного* вымысла? Является ли, к примеру, вымысел, в котором Николай II становится большевиком, а Ленин — русским самодержцем, *абсурдным* вымыслом? На первый взгляд, да. Но разве история не знала русских монархистов, аплодировавших «большевику» Ста-

⁸⁴ Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск 17. Теория речевых актов / Общая редакция Б. Ю. Городецкого. М.: Прогресс, 1988. С. 36. Подробное обсуждение этого вопроса не входит в наши задачи. Мы отсылаем читателя к материалам одного из номеров журнала «Логос», посвященного теме вымысла. В особенности обращаем внимание на статью Д. Льюиса «Истинность в вымысле», а также на комментарии В. Руднева к «Логико-философскому трактату» Л. Витгенштейна. См.: Логос. № 3 (1999).

лину после 1945 года, или «коммунистов» вроде Сталина, возрождавших крайние формы имперской политики? Один вымысел содержит абсурдные элементы, другой — нет; третий содержит их только по видимости, а четвертый скрывает их за внешне осмысленным сюжетом и т.д. Априорная несовместимость значений, якобы позволяющая умозаключать о невозможности бытия соответствующих предметов, — это часто лишь видимость, порождаемая недостаточностью наших знаний о мире.

4. К расселовской типологии бессмысленных предложений

Психологизация Гуссерлем «значения», выразившаяся в его отождествлении со «смыслом», вряд ли является продуктивной для прояснения семантики бессмысленных выражений. Тем более что Гуссерль сам в известной мере возвращает это различие с другого конца, отличая абсурд от нонсенса. Очевидно, что смысл, которого нет в нонсенсе, и значение, которого нет в абсурде, — это идеальные образования разной природы, так что вполне оправдано стремление Фреге различать их терминологически.

Выраженную в предложении мысль Фреге предпочитал рассматривать не как *значение* предложения, а как его *смысл*. Подобно ситуации с отдельным словом, предложение в целом тоже может иметь смысл, но не иметь никакого значения.⁸⁵ В гуссерлевских терминах это можно выразить так: Фреге допускал существование осмысленных, но вместе с тем совершенно беспредметных предложений. Такое разведение «смысла» и «значения» позволяет Фреге корректно поставить вопрос о разной познавательной ценности предложений художественного и научного языка. Научные предложения, по Фреге, ориентируются на *значение* предложения, тогда как предложения художественного языка нацелены «только на *смысл* предложений и вызываемые ими представления и эмоции».⁸⁶ Именно стремление к истине, специально культивируемое наукой, «заставляет нас двигаться вперед, от смысла предложения к его значению». По сути дела, Фреге отождествляет значение предложения с его *истинностным* значением, а это последнее не может, по Фреге, «быть частью мысли... так как оно — не смысл, а предмет».⁸⁷

Отсюда видно, что «смысл» предложений у Фреге не совпадает с их «значимостью» у Б. Рассела. Соответственно, по-разному понимается у Рассела и Фреге бессмысленность предложений.

Для изложения некоторых идей Рассела по вопросу языковых бессмыслиц мы обратимся к его «Исследованию значения и истины», — ра-

⁸⁵ Фреге Г. Смысл и значение... С. 31.

⁸⁶ Там же. С. 32.

⁸⁷ Там же. С. 33.

боте, трактующей логические и теоретико-познавательные проблемы в лингвистическом ключе.⁸⁸

Примечательно, что значимое (осмысленное) предложение Рассел прежде всего определяет здесь как предложение, «которое не является бессмыслицей». С другой стороны, утверждает он, «когда суждение не значимо, будем звать его “бессмысленным”». ⁸⁹ Но почему бы не определить — для начала — значимое предложение через само понятие «значимости» или «значения»? ⁹⁰ Но тогда возникает нетривиальный вопрос о том, что такое значимость и является ли любое бессмысленное предложение лишенным именно *значимости*? Очевидно, что Рассел не просто затрагивает, но сталкивает два принципиально разных вопроса — осмысленность/бессмысленность предложений с их истинностью/ложностью, — когда он делит все предложения языка на истинные, ложные и бессмысленные. По Расселу, если предложение что-нибудь означает, тогда то, что оно означает, должно быть истинным или ложным. «Истинное утверждение, — пишет Рассел, — “указывает на” факт; если же оно ложное, оно предназначено “указывать на” факт, но это ему не удастся». ⁹¹ Но даже такое ложное в своей беспредметности предложение остается, по Расселу, значимым. В чем тогда может заключаться его «значимость», если она не может быть тем, что Фреге называл «истинностным значением»?

При обсуждении этого вопроса («что делает предложение значимым?») Рассел затрагивает ряд интереснейших моментов, но одновременно существенно усложняет тему, сталкивая принципиально разные уровни языка. В результате у Рассела намечаются существенно отличные друг от друга версии значимости и, соответственно, разные типы бессмысленных предложений.

Во-первых, Рассел связывает значимость предложений с определенными правилами синтаксиса естественного языка, которые, — как он предполагает, — предназначены для того, чтобы предотвращать бессмыслицу. Так, предложение «Сократ — человек» построено в соответствии с этими правилами и является значимым; но «является человеком», рассматриваемое как полное предложение, нарушает правила и

⁸⁸ Здесь и далее мы ссылаемся на русский перевод этой книги: Рассел Б. Исследование значения и истины / Пер. с англ. Е.Е. Ледникова, А.Л. Никифорова. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. При этом мы не претендуем на исчерпывающий анализ расселовского понимания логических и языковых бессмыслиц.

⁸⁹ Рассел Б. Исследование значения и истины... С. 183.

⁹⁰ Термин «значение» [meaning] Рассел вначале применяет к отдельным словам, тогда как термин «значимость» [significance] — к предложениям, однако по ходу рассуждений приписывает «значение» и предложениям, рассматривая основой значимых предложений выраженное в них значение.

⁹¹ Рассел Б. Исследование значения и истины... С. 189.

является бессмысленным.⁹² При таком подходе любое предложение считается значимым, если оно построено в соответствии с правилами синтаксиса из слов, имеющих значение. Однако сразу же Рассел наталкивается на тот факт, что «ни один естественный язык не содержит синтаксических правил, препятствующих построению бессмысленных предложений». Действительно, приводимое Расселом в качестве примера бессмысленное предложение «четырёхсторонность пьёт отсрочку» не содержит грамматических нарушений и сплошь составлено из слов, имеющих значение.⁹³ Именно это обстоятельство, как мы видели, заставило Гуссерля проводить различие между бессмыслицей (нонсенсом) и абсурдом, у Рассела же оно, во всяком случае, порождает многозначность понятия бессмысленности. С одной стороны, бессмысленными являются некорректные выражения, нарушающие чисто синтаксические правила; с другой стороны, грамматически корректные, но семантически аномальные выражения Рассел также квалифицирует как «явную бессмыслицу», призывая к созданию лучших правил синтаксиса, которые бы автоматически предотвращали появление такого рода бессмыслиц.

У современных лингвистов, как мы далее покажем, такой призыв может вызвать скорее улыбку, чем сочувствие. Для них лингвистический эксперимент, связанный с нарушением семантических и прагматических канонов языка, «имеет своей целью проникнуть в природу самого канона, а через него и в природу вещей».⁹⁴ Н. Хомский, намечающий в русле своей теории «степени грамматичности» целую иерархию бессмыслиц как нарушений одного из различных типовых правил образования осмысленной семантико-синтаксической структуры, специально подчёркивает, что «грамматичность» используется им как формальный термин, не подразумевающий, что «отклоняющиеся от нормы предложения объявляются вне закона — как “не имеющие функции” или “незаконнорожденные”». Верно как раз обратное...⁹⁵ Но, как бы то ни было, мы видим у Рассела два разных типа бессмысленных предложений: один связан с нарушением чисто синтаксической структуры предложения, а другой — с нарушением семантических (или семантико-синтаксических) правил (с «отклонением от правил селекции», как назовет это позже Хомский).

Получается, что правила синтаксиса и осмысленность слов есть необходимое, но не достаточное условие значимости предложения, ибо при выполнении такого условия еще возможны бессмысленные предложения. Значимое (осмысленное) предложение, рассматриваемое

⁹² Там же. С. 187.

⁹³ Там же. С. 183.

⁹⁴ Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. С. 303.

⁹⁵ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд-во МГУ, 1972. С. 215—216.

как единый знак, непременно должно что-то означивать [signify], подобно тому как отдельное слово *означивает* [mean] нечто.⁹⁶ Вопрос, однако, состоит в том, что такое это «что-то», и какие предложения способны его означивать, а какие — нет? В любом случае, Рассел видит, что бессмысленность предложений не связана с одним только недостатком (или избытком) сигнификации, но что важную роль играют здесь и другие факторы. Вопрос только, где их искать: в самом языке (в семантической структуре предложений) или в лингвистической реальности?

Рассел исходил из того, что именно «суждение» есть то «нечто», что «означивается» некоторой фразой, и что бессмысленные фразы ничего не означивают.⁹⁷ Но что, опять же, понимать под «суждением»? Суждение можно истолковать как мысль, обитающую (помимо прочего) в семантической структуре предложения. В этой связи Фреге категорично заявлял, что «соединяя субъект с предикатом, мы всегда получаем тем самым мысль, но не совершаем перехода от смысла к значению, или от мысли к ее истинностному значению»,⁹⁸ т.е. к предмету вне языка. Такой прямой доступ к предмету, убежден в свою очередь Рассел, имеют только объектные слова, обладающие значением, внешним по отношению к языку. А значимые предложения, поскольку они ведь могут быть и ложными, относятся к предметам опосредованным образом, через суждения. Это утверждение Рассела, как видим, близко позиции Фреге, у которого имена понятий тоже относятся к предметам через понятия, а предложения — через выражаемую в нем мысль.

Таким образом, только *осмысленность* (значимость, значение) *отдельных слов* можно понимать как их истинностное значение (предметность), а их бессмысленность — как их беспредметность. *Значение же предложений*, лежащее в основе значимости (осмысленности) этих предложений, не может быть отождествлено с их «причинными свойствами», которые в лучшем случае дают лишь возможность отделить ложные предложения от истинных.⁹⁹ Отсюда Рассел делает вывод о том, что для определения условий значимости предложений нужно рассматривать «скорее эффекты слушателя, чем причины говорящего».¹⁰⁰ Именно «различие между значимыми и бессмысленными строчками слов, — пишет он, — заставляет нас признать, что значимое предложение обладает *лингвистическим* (подчеркнуто мною — С.П.) свойством, именно “значением”, которое не имеет никакого отношения к

⁹⁶ Рассел разводит эти термины, считая, что «значение» больше подходит для единичных слов, а «означивание» — для предложений.

⁹⁷ Рассел Б. Исследование значения и истины... С. 191.

⁹⁸ Фреге Г. Смысл и значение... С. 33.

⁹⁹ Рассел Б. Исследование значения и истины... С. 203.

¹⁰⁰ Там же.

истинности или ложности, будучи более субъективным свойством. Мы можем отождествить значение предложения с тем, что оно выражает, а это состояние говорящего». ¹⁰¹

Итак, значимое предложение должно выражать «какое-либо состояние говорящего». Но что понимать под этим состоянием? Это, пишет Рассел, «должно быть что-то в личности, полагающей предложение, но не в объекте, на который данное предложение указывает». ¹⁰² Это «что-то» Рассел усматривает в способности представить предмет, на который указывает данное предложение. Если такой предмет нельзя представить даже в воображении, тогда соответствующее предложение бессмысленно. («Я не могу создать реальную или воображаемую картину четырехсторонности, пьющей отсрочку», — поясняет Рассел).

Тем самым Рассел переносит всю проблематику значимости/бессмысленности предложений из семантико-синтаксической сферы языка в его прагматику. Соответственно, главной проблемой для Рассела оказывается не различие между суждением и означающим его предложением, а между тем, что суждение *выражает*, и тем, на что оно *указывает*. ¹⁰³ Но тем самым мы обнаруживаем у Рассела и новое понимание бессмысленных предложений, точнее, еще один тип таких предложений.

Цепочка слов является бессмысленной не потому, что не существует (не находится) предмета, на который она «указывает»; но она является таковой, потому что она вообще не способна на что-либо указывать или что-либо означивать. Другими словами, бессмысленная цепочка слов «не способна выразить какое-либо состояние говорящего». ¹⁰⁴ Предложение *четырёхсторонность пьет отсрочку* не указывает (и не может указывать) на какой-либо предмет, потому что оно не выражает никакого представления (реального или воображаемого образа), который можно было бы связать с этим предложением в качестве объекта, который оно описывает. Другими словами, психологический акт представимости предмета предложения оказывается у Рассела основой его значимости. Более того, даже синтаксические правила для получения значимых предложений из суждений восприятия Рассел трактует как «психологические законы того, что можно вообразить». ¹⁰⁵

Эта линия рассуждений Рассела представляется наименее продуктивной для анализа семантики языковых бессмыслиц, так как она ведет к игнорированию важных дистинкций, уже введенных в этой связи Фреге и Гуссерлем. В самом деле, Рассел фактически отождествляет

¹⁰¹ Там же. С. 303.

¹⁰² Там же. С. 202.

¹⁰³ Там же. С. 303.

¹⁰⁴ Там же. С. 189.

¹⁰⁵ Там же. С. 202.

то, что стремится развести Фреге: «представление», «смысл» и «значение» языковых знаков. Фреге подчеркивает, что смысл знака «может быть общим достоянием многих, и, следовательно, не является частью или модусом души отдельного человека». ¹⁰⁶ Другими словами, по Фреге, два человека могут понимать один и тот же *смысл*, но одного и того же *представления* они иметь не могут. С другой стороны, и для Гуссерля «представимость» предмета высказывания отнюдь не тождественна *смыслу* высказывания. Из того, что нельзя представить даже в воображении «четырёхсторонности, пьющей отсрочку», еще не следует, что у данного предложения нет единого смысла, пусть и чисто идеального. Напротив, в мире идеальных значений это предложение осмыслено, и этому оно в первую очередь обязано своей объективной грамматической структуре. Просто не все идеальные смыслы можно представить; смысл вообще нельзя свести к представлению, — это с одной стороны. С другой стороны, представимость предмета высказывания (вроде приведенного выше) не может быть ограничена только конвенциями так называемого здравого смысла. Как блестяще показал позднее Р. Якобсон на примере абсурдного выражения, позаимствованного им у Хомского (*Бесцветные зеленые идеи яростно спят*), фиктивность сущностей вроде «зеленых идей» или «квадратуры круга» не мешает им быть вполне осмысленными в художественном или повседневном языке метафор. ¹⁰⁷

У Рассела, стало быть, важным становится чисто психологический контекст высказывания. Бессмысленные предложения Рассел начинает толковать, с одной стороны, в духе психологически понимаемого переживания, а с другой стороны (и этот момент представляется более интересным в его теории языковых бессмыслиц), в духе развитой позднее теории речевых актов. В этой связи мы обнаруживаем у Рассела начатки принципиально нового понимания бессмысленных предложений, а именно бессмыслиц как *коммуникативных неудач*.

Психопрагматический аспект предложений Рассел рассматривает в единстве двух моментов: внутреннего и внешнего. Первый момент связан со «значимостью для меня» ((не-)представимость сложных образов согласно психологическим законам) и второй — со «значимостью для другого» (когда вопрос о значимости больше связан с услышанными предложениями, чем с высказанными). Соответственно, это дает два принципиально разных понятия прагматической (коммуникативной) значимости (бессмысленности) выражений.

У Рассела в связи со вторым типом прагматических бессмыслиц языка ставится проблема, позднее разработанная в теории речевых актов: проблема соотношения пропозиционального и иллокутивного

¹⁰⁶ Фреге Г. Смысл и значение... С. 28.

¹⁰⁷ См. Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение // Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 237.

значений предложения. Рассел приводит случай с Лэмбом, который в перебранке с торговкой рыбой обозвал ее «параллелограмшей», и «это произвело большее впечатление, чем он мог бы достичь любым более значимым оскорблением». ¹⁰⁸ Рассел здесь неявно ставит еще одну кардинальную для теории речевых актов проблему соотношения *интенционального* и *конвенционального* в речевом акте. Указанное выражение («Параллелограмша!»), будучи бессмысленным с пропозициональной точки зрения, тем не менее построено в соответствии с иллокутивными правилами бранного обращения и сообразно с ними воспринимается и слушателем, поэтому оно успешно в коммуникативном плане. Более того, сама непонятность слова (как следствие его пропозициональной бессмысленности) воспринимается слушателем как метафора оскорбления как такового, отчего коммуникативная успешность высказывания только повышается. Рассел констатирует как факт, что семантически и синтаксически ущербные предложения, которые логиками должны рассматриваться как строго бессмысленные, оказываются в определенных речевых ситуациях осмысленными; более того, они способны вызывать сильные эмоции и провоцировать конкретные действия.

Если «вопрос о значимости больше связан с услышанными предложениями, чем с высказанными», ¹⁰⁹ тогда критерий осмысленности (значимости) предложений следует искать в их коммуникативной успешности, которая в свою очередь должна в какой-то мере определяться природой высказывания. Но значит ли это, что некорректно построенное (т.е. бессмысленное в семантико-синтаксическом, пропозициональном плане) предложение ведет фатально к коммуникативной неудаче? По Расселу, получается, что нет. Приведенный пример с «параллелограмшей» показывает, что «фактическая бессмыслица может иметь такие эффекты, которые полагалось бы иметь только значимому высказыванию, но в таком случае слушатель обычно воображает значимость, которой слова, входящие в предложение, никак не допускают». ¹¹⁰ Мы видим, что Рассел допускает тем самым коммуникативный критерий значимости предложений, который, однако, он толкует в психологическом ключе. То, что мне представляется бессмысленным (не выражающим «моего состояния»), т.е. что я не могу представить в качестве предмета «фактически бессмысленного» высказывания, может представить другой в силу своих психологических оснований. Если я постулирую (со ссылкой на какие-то психологические законы) априорную невозможность возникновения такого рода представлений у другого, тогда он оказывается как бы «вне закона» вместе со всей этой речевой ситуацией. Если же я это не постулирую — тогда я должен ставить под сомне-

¹⁰⁸ Рассел Б. Исследование значения и истины... С. 203.

¹⁰⁹ Там же. С. 189.

¹¹⁰ Там же.

ние психический акт (не-) представимости предмета высказывания в качестве критерия его значимости (бессмысленности). Но можно ли считать коммуникативно-осмысленным (-бессмысленным) то, что кажется таковым только одному из участников коммуникации? И может ли вообще коммуникативная значимость высказывания определяться индивидуально-психологической «представимостью» его предмета, а эта последняя — определять семантическую осмысленность предложений языка? Очевидно, что расселовская теория значимости/бессмысленности предложений оставляет много открытых вопросов.

5. Концепция языковых аномалий Н. Хомского

Как бы ни была критичной общая оценка научных идей Н. Хомского, именно с его именем следует связывать систематический интерес лингвистики к бессмыслицам языка. Ниже мы попытаемся дать общий обзор предпринятого Хомским анализа языковых аномалий.

Хомский различает три общих вида отклонений от осмысленной семантико-синтаксической структуры предложения: чисто синтаксические, чисто семантические и промежуточные, семантико-синтаксические отклонения.

К чисто синтаксическим аномалиям Хомский относит предложения вроде *sincerity frighten may boy the* или *Boy the frighten may sincerity*.¹¹¹ Примерный эквивалент в русском языке: *вам обязательно к пойдю, Иван Петра увидел не*. Такого рода синтаксические нарушения не означают полного аграмматизма предложений. Хотя пример Хомского показывает, что нарушение синтаксической структуры не может не нарушать смысла предложения, тем не менее какой-то смысл здесь вполне можно реконструировать. В примере Хомского возможны, по крайней мере, два варианта смысла: *The Boy may frighten sincerity* (мальчик испугать искренность) или *Sincerity may frighten the Boy* (искренность может испугать мальчика). И хотя первый вариант абсурден, он формально допустим в языке. С такой, чисто синтаксической, аномалией не следует путать пример нонсенса, приводимый Гуссерлем: *König aber oder ähnlich und*.¹¹² Здесь реконструкция смысла чисто синтаксическими средствами уже невозможна.

В качестве примера чисто семантических (логико-семантических) отклонений Хомский приводит предложения вроде *that ice cube that you finally managed to melt just shattered* (тот кусок льда, который тебе наконец удалось растопить, только что разбился). Или такие примеры (тоже из Хомского): *оба родителя Джона женаты на моих тетках; окулисты обычно лучше образованы, чем глазники*.¹¹³ Здесь с очевидностью нарушается

¹¹¹ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд-во МГУ, 1972. С. 72.

¹¹² Husserl E. Logische Untersuchungen... S. 334.

¹¹³ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса... С. 72–73.

логическая связь (к примеру, закон предшествования причины следствию) как основа семантической структуры предложений. Аналогом такого рода предложений у Гуссерля выступают выражения вроде «*Четырехугольник является круглым*».

Но семантика слов не сводится к логике выраженных в них понятий, и это тоже имел в виду Гуссерль, когда приписывал *идеальный смысл* совершенно абсурдным (в логическом плане) выражениям вроде «круглый четырехугольник». Однако то, что Хомский называет «аномальными» выражениями, выходит далеко за рамки гуссерлевских «абсурдов» и гуссерлевского различия между абсурдами и нонсенсами. Если указанные выше чисто семантические и чисто синтаксические примеры «отклоняющихся от норм языка» (по терминологии самого Хомского) выражений еще позволяют себя вписать, пусть и с натяжкой, в гуссерлевское различие нонсенса и абсурда, то еще одна группа аномальных выражений, которая Хомскому как раз больше всего интересна, уже явно обнаруживает ограниченность гуссерлевских примеров. Нельзя сказать, что тем самым она упраздняет вводимую Гуссерлем дистинкцию; но она существенно расширяет типологию речевых бессмыслиц. Речь идет о предложениях вроде *the boy may frighten sincerity* (мальчик может испугать искренность); или *sincerity may admire the boy* (искренность может восхищаться мальчиком); или *the boy was abundant* (мальчик был обильный); или *не прошло и мальчика* (по аналогии с выражением *не прошло и часа*).¹¹⁴ Выраженные в этих предложениях отклонения от правил языка, подчеркивает Хомский, носят промежуточный (по отношению к двум вышеуказанным типам отклонений) характер. Для понимания такого рода аномалий нужен не чисто синтаксический или чисто семантический анализ, а именно «промежуточный», семантико-синтаксический подход. «В действительности, — пишет Хомский, — не следует считать доказанным, что синтаксические и семантические соображения могут быть точно разграничены»,¹¹⁵ что «вопрос о соотношении между синтаксическими и семантическими правилами отнюдь не является решенным».¹¹⁶

Развивая такой подход, Хомский различает между аномальными предложениями, получающимися в результате нарушения правил категоризации и предложениями с нарушением правил субкатегоризации; а также между аномальными предложениями с нарушением контекстно-свободных правил и предложениями, где нарушены контекстно-связанные правила. В рамках же контекстно-связанных правил субкатегоризации Хомский различает аномальные предложения с нарушением правил строгой субкатегоризации и предложения с нарушением правил селекции (то есть правил *нестрогой* субкатегори-

¹¹⁴ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса... С. 71–72.

¹¹⁵ Там же. С. 73.

¹¹⁶ Там же. С. 147.

зации). Последняя дистинкция нам наиболее интересна, поэтому стоит остановиться на ней подробнее.

Нарушение правил категоризации представляет собой синтаксическую бессмыслицу, при которой не выполняется одна из категорий, формируемая посредством правил подстановки — к примеру, когда вместо глагола употребляется существительное, наречие или прилагательное: *мальчик пламя автомобиль*; *мальчик горячо автомобиль* вместо *мальчик поджигает автомобиль*. В случае нарушения правил субкатегоризации получается чуть менее аномальная конструкция, которую уже труднее отнести к чисто синтаксической бессмыслице; к примеру, когда нарушается правило переходности/непереходности при употреблении глагола (*мальчик горит автомобиль* вместо *мальчик поджигает автомобиль* или когда отсутствует необходимое дополнение глагола (*Джон вынудил*) и т.п.,¹¹⁷ или когда допускается недопустимая пассивная конструкция глагола и т.д.

Контекстно-свободные правила субкатегоризации вводят внутренние признаки, на основе которых классифицируются категории. В случае субкатегоризации существительных речь идет о правилах, применяемых при различении Собственности/Нарицательности, Одушевленности/Неодушевленности, Человеческого/Нечеловеческого, Исчисляемости/Неисчисляемости, а также сочетаний этих признаков (перекрестная классификация). Контекстно-свободными будут, к примеру, некоторые правила, связывающие исчисляемость и одушевленность, одушевленность и человеческое.¹¹⁸ Это значит, что независимо от того, в каком контексте употребляется, к примеру, данное существительное, оно не может одновременно выступать одушевленным и исчисляемым подобно веществу. Соответственно, нарушение таких правил дает аномальные предложения вроде «*Человека ушло много*». Сам глагол «уходить» (в отличие, например, от глагола «разливать») всегда совместим с существительным, отвечающим признакам одушевленности и человечности («*Человек ушел*» vs «*Человек разлился*»), однако грамматическая конструкция предложения указывает на исчисляемость одушевленного существительного, что нарушает контекстно-свободное правило его субкатегоризации.

Особое внимание Хомский обращает на контекстно-связанные правила субкатегоризации, точнее, на принципиальное отличие между правилами строгой субкатегоризации и правилами селекции. И здесь мы непосредственно подходим к знакомой нам дистинкции «нон-сенс — абсурд», но теперь уже сформулированной в терминах лингвистической теории Хомского.

Хомский пишет, что правила строгой субкатегоризации разлагают символ «в терминах его категориального контекста», тогда как прави-

¹¹⁷ Там же. С. 137.

¹¹⁸ Там же. С. 101.

ла селекции разлагают символ «в терминах синтаксических признаков обрамляющих конструкций, в которых он встречается». ¹¹⁹ Другими словами, если правила строгой субкатегоризации субкатегоризируют лексическую категорию «в терминах обрамляющей конструкции категориальных символов, в которой она появляется», то правила селекции субкатегоризируют лексическую категорию «в терминах синтаксических признаков, которые появляются в определенных позициях в предложении». ¹²⁰

Как уже указывалось выше, примером нарушения правил строгой субкатегоризации могут служить высказывания, в которых не выполняется необходимое употребление переходного глагола или нет обязательного дополнения в виде наречия и т.д. Примеры Хомского: *John compelled* (Джон вынудил); *John became Bill to leave* (Джон стал Билла уйти). ¹²¹ (Сравните схожий пример неполного предложения у Рассела: «*Является человеком*»). Правила селекции придают совместимость определенным внутренним признакам различных сочетаемых выражений. К примеру, глагол «бежать» требует субъекта с признаком одушевленности и т.д. Правила селекции выражают то, что также называется у Хомского «селекционными ограничениями» или «ограничениями совместной встречаемости». Несоблюдение таких ограничений рождает аномальные предложения вроде *golf plays John* (гольф играет в Джона: глагол «играть» требует одушевленного объекта, а гольф — неодушевленный); *misery loves company* (нищета любит общество); ну и, конечно, ставший знаменитым пример: *colorless green ideas sleep furiously* (бесцветные зеленые идеи яростно спят). ¹²² (Срав. аналогичный пример у Рассела: *Четырехсторонность пьет отсрочку*).

Здесь, однако, возникает нетривиальный вопрос: можно ли вообще говорить о бессмыслице в случае *всех* языковых аномалий, анализируемых Хомским? Даже если проводить терминологические параллели с Гуссерлем, нельзя не заметить, что у последнего бессмысленность абсурдных выражений имеет сугубо логическую, а бессмысленность нонсенса — чисто синтаксическую природу (словесные абракадабры). Но как быть с «промежуточными» случаями, столь интересными для лингвистики? Наши отечественные исследователи Т. Булыгина и А. Шмелев разграничивают абсурдные высказывания и семантические аномалии, полагая, что при всей их внешней схожести, первые отражают глубинные сдвиги, происходящие в современном сознании, а вторые — простое нарушение языковой нормы. ¹²³ А немецкий иссле-

¹¹⁹ Там же. С. 89–90.

¹²⁰ Там же. С. 107.

¹²¹ Там же. С. 137.

¹²² Там же. С. 138.

¹²³ Булыгина Т., Шмелев А. Аномалии в тексте: Проблемы интерпретации // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М.: Наука, 1990. С. 105.

дователь П. Ланг, интерпретируя Хомского, называет языковой бессмыслицей [Unsinn] любое нарушение одного из типовых правил образования осмысленной семантико-синтаксической структуры. В связи с этим он говорит как раз о возможности построения, с опорой на Хомского, иерархии бессмысленных выражений.¹²⁴

Порождающая грамматика Хомского, отличая предложения, произведенные путем нарушения правил строгой субкатегоризации, от предложений, полученных в результате нарушения правил селекции, действительно вводит понятие «степени грамматичности»,¹²⁵ и формально оно позволяет говорить не просто о различии нонсенса и абсурда (примерно в смысле Гуссерля), но формулировать определенную типологию бессмысленных выражений. Хомский говорит о возможности определять «степень отклонения от нормы»: в самом деле, аномальность предложения, где место глагола занимает какая-то другая часть речи, будет существенно большей, чем аномальность предложения, в котором вместо переходного глагола фигурирует непереходный и т.п.¹²⁶

Уже в «Аспектах теории синтаксиса» Хомский намечает еще один, а именно прагматический сюжет в своем анализе аномальных предложений. Речь идет о проблеме «допустимости» предложений, проблеме, относящейся к употреблению языка, а не к языковой компетенции как таковой.¹²⁷ Допустимость имеет у Хомского чисто коммуникативный смысл: это выражения, которые воспринимаются как совершенно естественные и мгновенно понимаются. Те же, что кажутся странными (нелепыми) и требуют специальных усилий слушателя для их декодирования, являются в той или иной степени «недопустимыми». Однако степень недопустимости языковых выражений напрямую не зависит от их грамматичности; грамматичность вообще является только одним из многих факторов, определяющих допустимость. Нелепость недопустимых выражений часто объясняется внешними для грамматики факторами, к примеру, ограниченностью памяти, стилистикой или интонацией высказываемого и т.п. Таким образом, откровенно совершенно новый, коммуникативный смысл абсурдности выражений, уже выходящий за основной массив приводимых Хомским примеров.

Итак, здесь важно зафиксировать следующее: Бессмысленность (в самом общем смысле этого термина) выражена у Хомского в нескольких типах предложений, которые он называет «аномальными», «недопустимыми» и «бессмысленными». Очевидно, что за этим наборо-

¹²⁴ Lang P. Ch. Literarischer Unsinn im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main; Bern: Lang, 1982. S. 24.

¹²⁵ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса... С. 139.

¹²⁶ Там же. С. 141.

¹²⁷ Там же. С. 15–16.

ром названий стоят разные уровни языка, однако подавляющее большинство приводимых Хомским примеров можно назвать — следуя общей гуссерлевской дистинкции — предложениями-абсурдами, а не предложениями-нонсенсами. Причем Хомский связывает проблематику аномальных (бесмысленных) выражений не только с семантико-синтаксической, но и с прагматической сферой языка.

6. Об опыте классификации семантических бессмыслиц

Аномальные предложения, получающиеся в результате нарушения правил подстановки, немецкий исследователь П. Ланг называет *категориально-синтаксической бессмыслицей* [Unsinn].¹²⁸ Примером этого могут служить предложения, в которых вместо глагола употребляется прилагательное или наречие. К такого рода бессмыслице Ланг относит и предложения с нарушением какого-либо признака строгой субкатегоризации — к примеру, когда вместо переходного глагола употребляется непереходный и т.п. (см. примеры выше). Что касается интерпретации в качестве бессмысленных тех предложений, где нарушены правила селекции, то их Ланг относит к *семантическим бессмыслицам*. При этом он опирается на классификацию таких бессмыслиц у Цветана Тодорова, который еще в 70-е годы прошлого века показал возможности порождающей трансформативной грамматики Хомского для анализа семантических аномалий как нарушений правил селекции (при правильной категоризации и субкатегоризации).

В классификации Ц. Тодорова речь идет не о *категориально-*, а о *семантико-синтаксической бессмыслице*, которая представлена у него несколькими типами аномалий. *Во-первых*, это комбинаторные аномалии, когда не выполняются комбинаторные характеристики слов, т.е. их сочетаемость, задаваемая упомянутыми выше «селекционным ограничением». Эти характеристики могут быть нарушены как внутри отдельного предложения (к примеру, при нарушении оппозиций одушевленный — неодушевленный, мужской — женский: сборище мыслей, беременный мужчина и т.д.), так и при слиянии двух корректных предложений в одно аномальное: «Он играл марш и нервами». Помимо комбинаторных, Ц. Тодоров выделяет также *логические и антропологические аномалии*.¹²⁹

Под *логическими аномалиями* Тодоров подразумевает тавтологии и противоречия. В качестве мнимой формы такой аномалии Тодоров называет также *парадоксы*, которые он понимает как противоречивые (по форме) предложения, образованные антонимами. Однако факти-

¹²⁸ Lang P. Ch. Literarischer Unsinn... S. 24.

¹²⁹ См.: Todorov T. Die semantischen Anomalien // Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven. (J. Ihwe — Hrsg.). Bd. I — III. Frankfurt am Main, 1971. Bd. I. S. 368 ff.

чески противоположные категории не относятся при этом к одной и той же понятийной сфере.¹³⁰ Пример: *На небе висела луна, огромная, как медальон*. Непротиворечивым было бы здесь предложение: *На небе висела Луна, огромная, как континент*. Контрадикция могла бы звучать: *На небе висела луна, огромная, как микроб*. Приведенное же вначале предложение есть парадокс как видимость противоречия, ибо выражение «медальон» не обязательно имеет семантический признак «маленький». Примером *антропологической аномалии* может служить предложение: *Бандиты прошли практику в полиции*. Как справедливо замечает П. Ланг, аномалии такого рода обнаруживают границы семантики в трактовке языковых бессмыслиц. В самом деле: правила комбинаторики (селекции, по Хомскому) здесь не нарушаются, нет здесь также ни тавтологии, ни контрадикторного противоречия; просто комбинация отдельных выражений (слов) создает предложение, смысл которого представляется невероятным по социальным причинам. И только эта невероятность считается основой аномальности предложения.

Классификация Тодоровым языковых аномалий является неполной в двояком смысле: во-первых, она неполна на семантико-синтаксическом уровне; во-вторых, она недостаточна с учетом искусственного отграничения этого уровня от языковой прагматики.

Остановимся на первом аспекте отмеченной неполноты. Указанные Тодоровым семантические аномалии можно дополнить целым рядом нарушений смысловых отношений (или «смысловых реляций»), которые могут также пониматься как семантические пресуппозиции). Речь идет о несоблюдении различных смысловых свойств, таких как синонимии: *Он был не холостяк, а неженатый мужчина*; симметрии: *Шиллер был современником Гете, хотя обратное было неверным*; транзитивности: *Иван был моложе Петра, а Павел – еще моложе, чем Иван, зато старше Петра*; нерелективности: *Я довожусь себе братом* и т.д.¹³¹ Эти семантические аномалии только отчасти совпадают с теми, что приводит Хомский,¹³² и они не совпадают (хотя и близки) с теми, что Тодоров называет логическими аномалиями – контрадикциями и тавтологиями. У Ланга речь идет не просто о логических отношениях, выражаемых в языке, но о смысловых отношениях, которые выступают точками членения наличного вокабулярия; речь идет о смысловых свойствах выражений (их симметричности, антонимичности, синонимичности и т.д.). Так, выражение «быть отцом кого-то» является асимметричным, нетранзитивным и нерелективным. Смысловые свойства это-

¹³⁰ Ibid. S. 372.

¹³¹ Lang P. Ch. Literarischer Unsinn... S. 26.

¹³² См. его тип предложений № 16. Хомский, с. 72–73. К примеру, здесь есть как нарушение синонимии (*окулисты обычно лучше образованы, чем глазники*), так и чисто логические абсурды вроде «*Оба родителя Джона женаты на моих тетках*» или «*Я вспоминаю партитуру сонаты, которую я надеюсь когда-нибудь сочинить*».

го выражения (его семантические пресуппозиции) говорят нам: нельзя быть отцом самого себя, братом своего сына или отцом своих внуков и т.д. Лексическое значение данного выражения понимается здесь как «упрощенное понятие», т.е. как «тот минимум признаков, который оказывается необходимым для того, чтобы слово было понятным и могло функционировать в речи». ¹³³ Однако если смотреть на это с точки зрения «усложненного понятия», выходящего за привычный и реальный опыт, то указанные смысловые определенности могут оказаться весьма относительными. Если продолжить приведенный пример с отношениями родства: кем, например, я буду доводиться собственному клону — братом или отцом? Или, возможно, *собственным* братом *и* отцом? И разве в случае инцеста дед не может оказаться отцом собственного внука? ¹³⁴ Все это обнаруживает сложность вопроса о границе между семантикой предложений и выражаемой в них логикой, или — как пишет Хомский — о «границе, отделяющей семантические системы от систем знаний и убеждений». ¹³⁵ Вместе с тем реальность этой границы, сколь бы текучей она ни была, трудно подвергать сомнению.

В направлении такого же рода семантических аномалий (которые мы для краткости будем называть «чисто семантическими» и будем отличать от «чисто логических» аномалий) идут и приводимые Хомским примеры отклоняющихся от нормы выражений вроде «*У руки есть человек; у пальца есть рука*», в отличие от вполне нормальных выражений «*У человека есть рука; у руки есть палец*». Сравнивая предложение «*У муравья есть почка*» с его инверсией «*У почки есть муравей*», Хомский справедливо называет отклоняющиеся по такому типу предложения именно «бессмысленными», а не ложными или невозможными. ¹³⁶ В самом деле, данное отклонение не касается предметной истинности (ложности) утверждения; вполне допустимо оно и с точки зрения синтаксиса. С другой стороны, отличается оно и от чисто логических абсурдов, затрагивая именно «логику» самого языка, особую семантическую часть его грамматики. В этом смысле оно близко тем «смысловым отношениям» и «смысловым свойствам» выражений, о которых упоминает П. Ланг, ¹³⁷ а также селекционным правилам в смысле Хомского (Хотя вопрос о соотношении такого рода отклонений с правилами селекции, равно как и грамматический статус самих селекционных правил, остается у Хомского не вполне проясненным).

¹³³ Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. М.: Изд-во МГУ, 1973. С. 44—45.

¹³⁴ Здесь, помимо прочего, видно, что социально-поведенческие аномалии вроде инцеста существенно связаны с языковыми аномалиями, с нарушением смысловых отношений языковых выражений как семантической части грамматики.

¹³⁵ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса... С. 147.

¹³⁶ Там же. С. 149.

¹³⁷ Это предложение можно, к примеру, проинтерпретировать как нарушение несимметричности выражения.

В любом случае, мы видим, что приведенная Тодоровым классификация языковых аномалий может быть дополнена даже на уровне семантики; но тем более требует она конкретизации на прагматическом уровне, от которого Тодоров практически абстрагируется.

7. Об эстетической утилизации бессмыслиц языка

Как отмечалось выше, примеры аномальных предложений, приведенные Хомским в его «Синтаксических структурах» (1957), стали объектом критики, в частности, у Р. Якобсона.¹³⁸ Якобсон не склонен, подобно Гуссерлю, вводить априорное различие между просто беспредметными предложениями (чистым вымыслом) и абсурдными высказываниями вроде *квадратуры круга*. Идеальные смыслы таких высказываний, которым не могут соответствовать никакие реальные предметы, как бы утрачивают свое двусмысленное (точнее, в строгом смысле абсурдное) существование в гуссерлевской феноменологии и приобретают осмысленное бытие в качестве метафор языка. Здесь *круглый квадрат* не является абсурдным выражением, так как метафора снимает его буквальное онтологическое прочтение. Гуссерлевский «абсурд» превращается в языковую аномалию как часть языковой игры или лингвистического эксперимента в рамках прежде всего художественного (шире — эстетического) дискурса. Именно в этой связи Якобсон отказывается признавать бессмысленными предложения вроде «Бесцветные зеленые идеи яростно спят». Он справедливо указывает на возможность их метафорического употребления, приводя в пример Делла Хаймза, который использовал предложение Хомского, написав в 1957 г. вполне осмысленное стихотворение под тем же названием «Бесцветные зеленые идеи яростно спят».

В самом деле, наш язык не только очаровывает наш интеллект своими «идолами»; часто он оказывается гораздо умнее нашего ума, допуская, например, «беременного мужчину» или глаголы «рожать», «нести» без обязательной грамматической привязки к женскому полу. Тем самым язык не только дает возможность метафорически выразить определенные мысли и настроения, но оказывается также способным описать абсурдную фантастику самой реальной жизни. Вспомним, например, о средневековых процессах против колдунов и/или животных: в них такие «возмутительные факты», как беременный мужчина или петух, снесший яйцо, фигурируют как очевидные преступления,¹³⁹ со всеми вытекающими *реальными* последствиями для обвиняемых.

¹³⁸ Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение... С. 236–237.

¹³⁹ См., к примеру, об этом: Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом завете. 2-е изд. М.: Политиздат, 1990. С. 481.

Якобсон также замечает, что даже если мы будем педантично осуждать все образные выражения и отрицать существование «зеленых идей», то и тогда, как в случаях «квадратуры круга» или «птичьего молока», «несуществование», фиктивность этих сущностей не имеет отношения к вопросу об их семантической значимости. Якобсон предостерегает против «смещения онтологической нереальности с бессмысленностью». ¹⁴⁰ Ведь из-за этого оказываются исключенными из языка такие «якобы “инвертированные непредложения”», как *golf plays John* (гольф играет Джоном). ¹⁴¹ Возможны, напротив, такие вполне ясные высказывания, как *John does not play golf; golf plays John* (Это не Джон играет в гольф, а гольф играет Джоном). ¹⁴² Позднее, в «Аспектах теории синтаксиса» (1965), Хомский учел эту критику. Теперь он обращал внимание на принципиально разный характер аномальности предложений, полученных в одном случае путем нарушения правил строгой субкатегоризации, а в другом — путем нарушения правил селекции. ¹⁴³ Хомский подчеркивает, что «грамматичность» используется им как формальный термин, и не подразумевает, что отклоняющиеся от нормы предложения объявляются вне закона как «не имеющие функции» или «незаконнорожденные» в языке. ¹⁴⁴

Но насколько далеко может идти метафорическая (шире — прагматическая) интерпретация приводимых Хомским и Тодоровым семантико-синтаксических аномалий? Относительно предложений с нарушением правил нестрогой субкатегоризации здесь нет никаких сомнений: все они допускают метафорическую интерпретацию, особенно в художественном языке. *Мальчик был обилен (the boy was abundant)* Хомского ¹⁴⁵ ничуть не более (и не менее) аномальная фраза, чем *львы были свежи сюрреалистов*. ¹⁴⁶ Даже резко аномальные «инвертированные» предложения вроде *гольф играет Джоном; у пальца есть рука* вполне могут быть осмысленными предложениями повседневной коммуникации, на что указывает и Р. Якобсон. ¹⁴⁷ В.З. Санников приводит аналогичные случаи инвертированных выражений. К примеру, из фольклора: *Ехала деревня мимо мужика. Вдруг из-под собаки лают ворота*. Или детский вопрос из реальной жизни: *А где мама от этой девочки?* Относительно последнего предложения Санников справедливо заме-

¹⁴⁰ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса... С. 237.

¹⁴¹ Там же. С. 138.

¹⁴² Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение... С. 238.

¹⁴³ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса... С. 138.

¹⁴⁴ См. Примечание № 2 к с. 139 в: Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса... С. 215–216.

¹⁴⁵ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса... С. 71.

¹⁴⁶ Бретон А. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами. М.: Прогресс. 1986. С. 67–68.

¹⁴⁷ См. его пример: *Это не Джон играет в гольф, а гольф играет Джоном*. Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение... С. 238.

чает, что вопреки своей аномальности, оно не является бессмысленным, но лишь выражает специфику детского понимания роли родителей в жизни,¹⁴⁸ а также — добавим — то обстоятельство, что «ребенок овладевает синтаксисом речи раньше, чем он овладевает синтаксисом мысли».¹⁴⁹ Пример вполне осмысленной инверсии можно привести из политической коммуникации, когда идентификация политической партии происходит по ее лидеру: *У партии есть Ленин; У Ленина есть партия.*

Никакой, даже самый очевидный логический абсурд, нарушающий основы нашей картины мира, не имеет иммунитета против художественной утилизации. Казалось бы, что может быть фундаментальнее необратимости прошлого и будущего, причины и следствия? Но это не мешает Л. Кэрроллу систематически (и нетривиально!) нарушать ее в своих сказках, как не мешает Джойсу написать в «Улиссе» замечательную фразу: «И позади у него лежало великое будущее».¹⁵⁰

Метафорическую интерпретацию (о-смысление) допускают и другие семантические аномалии, приводимые, к примеру, Ц. Тодоровым. Комбинаторная аномалия «Он играл марш и нервами» есть типичный пример семантико-синтаксической контаминации (широко встречающейся в обыденном и литературном языке), которая только внешне кажется абсурдной, а на самом деле остроумна. Логические аномалии как разновидность семантических бессмыслиц также широко встречаются в художественном и повседневном дискурсе. Тавтологиями и контрадикциями кишит повседневная речь, и А. Бретон был не очень далек от истины, когда называл эхололию («Сколько лет вам? — вам») и симптом Гансера («Как ваше имя? — сорок пять домов») элементами любого диалога.¹⁵¹ Но и специальный лингвистический анализ указывает на важные коммуникативные функции тавтологических и противоречивых языковых выражений.¹⁵²

Еще меньше сомнений может быть относительно практической осмысленности так называемых «антропологических» аномалий. В условиях тотально криминализованных обществ нет ничего невероятного (а потому бессмысленного) в таких предложениях как: *Бан-*

¹⁴⁸ См.: Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 105–106.

¹⁴⁹ Выготский Л.С. Мышление в речь. Изд. 5-е. М.: Лабиринт, 1999, С. 100.

¹⁵⁰ Здесь и далее мы цитируем по изданию: Джойс Дж. Улисс / Пер. с англ. В. Хинкиса и С. Хоружего. СПб.: Симпозиум, 2000.

¹⁵¹ Бретон А. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами (Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М.: Прогресс, 1986. С. 63.

¹⁵² См. подробнее об этом: Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Аномалии в тексте: проблемы интерпретации // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста / Отв. редактор Н.Д. Арутюнова. М.: Наука, 1990. Срав. это также с трактовкой тавтологий и контрадикций у раннего Витгенштейна.

диты прошли практику в полиции; Героин продается у милиционеров; Мэфия готова финансировать районные суды и т.п.

Приводимые П. Лангом примеры нарушения смысловых отношений и свойств (см. выше) также допускают прагматически осмысленное употребление. Нарушение синонимии в предложении *Он был не холостяк, а неженатый мужчина* не является абсолютной: мужчина может быть формально неженатым, но жить в гражданском браке, быть отцом и т.д. Одним словом, в определенном контексте эта фраза вполне допускает ироничное обыгрывание. Можно без особого труда привести примеры прагматической интерпретации и других семантических аномалий, приводимых Лангом.

Аналогичную коммуникативную «утилизацию» допускают даже предложения с нарушением правил строгой категоризации и субкатегоризации. Для приведенного выше примера с нарушением контекстно-свободных правил субкатегоризации (*Человека ушло много*) можно без труда найти метафорический аналог в обыденном языке: *Хорошего человека должно быть много*. Да и сама исходная фраза может служить, к примеру, метафорическим выражением разложения личности. Также приведенные выше примеры *Мальчик пламя автомобиль* или *Мальчик горит автомобиль* вместо корректного *Мальчик поджигает автомобиль* вполне представимы (в качестве осмысленных фраз) в сюрреалистической поэзии и прозе с ее общим приемом «непосредственной абсурдности». У Д. Хармса часто встречаются грамматические рассогласования текста в виде некорректного употребления неопределенной формы глагола: «Вот час всегда только был. Вот час всегда только быть» («Вот и Вут час...»). Или: «Вот и миг полететь. Вот и круг полететь». («Звонить летать»)¹⁵³ У Джойса в «Улиссе» такая грамматическая деформация также становится нормой художественного языка: «В дверь тук-тук, в двери стук, то петух потоптать кукареку проорать».¹⁵⁴

Можем ли мы тогда утверждать, что любая семантико-синтаксическая бессмыслица допускает о-смысление в реальной речевой ситуации? Или можно привести пример безусловно бессмысленных выражений, которым невозможно дать даже чисто эстетической интерпретации? В таком статусе можно, пожалуй, заподозрить разве что речевые абракадабры, однако они бывают разных видов, так что их бессмысленность — тоже нетривиальный вопрос.

Приводимый выше пример из Хомского относится прежде всего к инверсиям, перестановкам слов в предложении. См., к примеру: *sincerity frighten may boy the*.¹⁵⁵ Такого рода инверсии часто применяются в художе-

¹⁵³ Примеры взяты из статьи: Успенский Ф., Бабаева Е. Грамматика «абсурда» и «абсурд» грамматики // Wiener Slawistischer Almanach 29 (1992). S. 132–133. См. там подробный анализ поэтики Хармса под этим углом зрения.

¹⁵⁴ Джойс Дж. Улисс... С. 247.

¹⁵⁵ Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса... С. 72.

ственной речи для выражения сбивчивости мысли, смятения чувств, внутренней речи и т.п. К примеру, в «Улиссе» Джойса: «Рука его искавшая тот куда же я сунул нашла в брючном кармане кусок мыла лосьон забрать теплая обертка прилипшее». Однако есть и другие способы производства абракадабр, которые фактически являются разными видами синтаксических бессмыслиц. Примеры из Гуссерля (*König aber oder ähnlich und*¹⁵⁶) или из Якобсона (*Move end toward seem*¹⁵⁷) можно трактовать как предложения, полученные не только в результате инверсии слов, но также вследствие речевых лакун, пропусков слов в предложениях. Другие, напротив, есть следствие слияния, контаминации слов или их частей. Наконец, есть разнообразные аморфизмы (изменения облика слов) и т.п. Все эти виды синтаксических бессмыслиц тоже эстетически утилизируются. Приведем лишь несколько примеров из «Улисса» Джойса. Синтаксические лакуны: *Жемчужины: когда она. Расcodии Листа. А вы не?; Листья истомились без; Их будет еще мно.*¹⁵⁸ Пример контаминаций: *Звяканье сбруи и глухозвук стукопыт по раскаленным булыжникам; Дэви Берн единым разом улыбнулсязевнулкивнул.*¹⁵⁹ Особенно любит обыгрывать Джойс аморфизмы, которые у него богаты всякого рода смысловыми и слуховыми аллюзиями: *О, Блум, заблумшая душа <...> Я одинокий облумок.*¹⁶⁰ Частенько у Джойса в одном предложении совмещаются сразу несколько типов синтаксических аномалий: *Вон этот, какбишьего, выходит от*¹⁶¹ и т.п.; Все эти синтаксические лакуны вполне оправданы у Джойса, поскольку они моделируют внутреннюю речь героя.

Если, однако, предложения-абракадабры представляют собой совершенно случайный набор слов и никак эстетически не утилизируются, тогда они не несут в себе никакой семантической информации, ибо они полностью неграмматичны. Их Якобсон с полным основанием отличает от грамматических предложений, составленных из слов-абракадабр, вроде предложения *Pirots karulize elastically.*¹⁶² Эта фраза, позаимствованная из карнаповского «Логического синтаксиса языка», сплошь состоит из выдуманных слов. Однако в данном случае, замечает Якобсон, «мы понимаем грамматическое значение и, стало быть, синтаксическую функцию бессмысленных слов, потому что нам известны их окончания».¹⁶³ В этом смысле данная фраза не является бессмысленной, даже если слова, из которых она состоит, суть абракада-

¹⁵⁶ Husserl E. Logische Untersuchungen... S. 334.

¹⁵⁷ Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение... С. 238.

¹⁵⁸ Джойс Дж. Улисс... С. 247, 71, 191.

¹⁵⁹ Там же. С. 160, 169.

¹⁶⁰ Там же. С. 247.

¹⁶¹ Там же. С. 60.

¹⁶² Остроумный русскоязычный аналог такого рода предложений дает Л. Петрушевская в своем рассказе «Пульки бятые».

¹⁶³ Якобсон Р. Звук и значение // Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 60.

бры. В грамматически осмысленной конструкции они становятся чем-то вроде квазислов или «потенциальных слов», т.е. знаками, которым в принципе можно придать смысл посредством постфактум изобретенного кода. Таким образом, действительно бессмысленными Якобсон признает только полностью неграмматичные предложения.¹⁶⁴ Но могут ли даже они получить какое-либо «о-смысление» в прагматике языка, к примеру, в эстетическом дискурсе?

Как отмечалось выше, для абсурдно-противоречивых выражений вроде *круглый квадрат* эта возможность эстетического выполнения интенции их смысла не является единственно возможным выполнением, поскольку они и без того формируют целостное, хотя и чисто идеальное, значение, причем формируют сразу и прямо, без посредства эстетической сферы. А вот для нонсенов-абракадабр эстетическая информация открывает поистине безграничные возможности смысловых интенций.

Интересно, что уже Гуссерль отмечает в «Логических исследованиях» эту эстетическую перспективу нонсенов, указывая на то, что даже словесные абракадабры, лишённые собственного значения, могут «возбуждать в нас косвенное представление о некоем выраженном ими целостном значении»,¹⁶⁵ но при сохранении аподиктической очевидности того, что *собственное значение* абракадабр в принципе *невозможно*. Отмечает Гуссерль и чисто эстетическую подоплеку этой «смысловой видимости» (назовем это так) абракадабр: они возбуждают в нашем сознании, благодаря «чувственному сходству» с осмысленными выражениями¹⁶⁶ несобственное представление о «некоем» относящемся к ним значении, хотя самого-то значения здесь как раз нет. Но заметим, что именно такая незаконченность смысловой ситуации открывает, с другой стороны, для реципиентов возможность ее домысливания (дофантазирования) до единого возможного значения. И это особенно востребовано в эстетической и повседневной коммуникации.

Для передачи эстетической информации годятся не только логические абсурды, но и очевидные нонсенсы, словесные абракадабры. Хотя звуки, в отличие от слов, сами по себе не имеют значений, они способны вызывать в нашем сознании определенные ассоциации или — как выражался Гуссерль — «чувственное сходство» с известными смыслами. Как очень точно заметил Э. Яндль, «подобно тому как работа со словами является в то же время работой со значениями, так и работа со звуками является работой с ассоциативными возможностями». ¹⁶⁷ Возникает ситуация, когда очевидный нонсенс может оказать

¹⁶⁴ Якобсон Р. Взгляды Боаса на грамматическое значение... С. 238.

¹⁶⁵ Husserl E. Logische Untersuchungen... S. 326.

¹⁶⁶ Ibid. S. 327.

¹⁶⁷ Яндль Э. Предпосылки, примеры и цели одного из способов поэтического письма // Называть вещи своими именами. М.: Прогресс, 1986. С. 397.

ся — в качестве носителя эстетической информации — эффективнейшим средством провоцирования, актуализации (или, напротив, вытеснения) некоторых ключевых смыслов, существенно влияющих на поведение людей. Словесные абракадабры, к которым логика испытывает почти царское пренебрежение, способны на самом деле инициировать или катализировать опустошающие для рациональных представлений смысловые сдвиги, способствуя тем самым их превращению в бессмыслицы. Это — своего рода виропоподобная подрывная работа бессмыслицы внутри исполненных (возвышенного) смысла систем.

Художественный опыт, особенно авангардистский, показывает (и это подтверждается психолингвистикой), что в каждом отдельном слове заключен не только его привычный смысл, но и его скрытая связь с другими словами, а также с предложениями и текстами, взятыми в широком контексте индивидуального и коллективного опыта больших групп людей. Поэтому всякая комбинаторика со словами есть в то же время комбинаторика со смыслами и значениями, даже если текст производится с прицелом не на содержание, а на свободную от содержания языковую модель. В отличие от логики, грамматика предложений вообще имеет дело прежде всего с комбинаторикой частей речи. При этом могут возникать весьма случайные и диковинные сочетания, в которых сознание — уже постфактум — может усмотреть для себя особый смысл. Речь идет именно о коммуникативном смысле, который вовсе не обязательно должен соответствовать объективной логике *предмета* коммуникации.

В широко понятой социальной коммуникации, как и в любой другой, тоже может получать смысл не только откровенная предметная ложь, но даже бессмыслица, противоречащая грамматическим правилам речевых сочетаний. Даже абсурдистские языковые игры на чисто фонетическом уровне, когда обыгрывается частичное сходство звукового облика слов, оказываются востребованными в коммуникации. Ведь благодаря этому приему можно вызвать определенные эмоции в отношении к определенным людям, объектам, событиям. Альфред Лиде в своей работе «Поэзия как игра» (1963) замечает, что «самая большая семантическая или логическая бессмыслица [Unsinn] <...> явно имеет смысл, <...> который лежит вне семантики или логики».¹⁶⁸

Но если с прагматической (эстетической) точки зрения любая абракадабра языка может получить смысл, что считать тогда бессмыслицей в прагматике языка, и существует ли здесь аналог различия между абсурдом и нонсенсом, с которым мы столкнулись на семантико-синтаксическом уровне? Уже заявленная Хомским проблема (не)допустимости языковых выражений предполагает ситуацию, обратную той, которую мы только что рассмотрели, а именно не коммуника-

¹⁶⁸ Liede A. Dichtung als Spiel. Studien zur Unsinnspoese an den Grenzen der Sprache. In 2 Bd. Bd. 1. Berlin: de Gruyter & Co., 1963. S. 7.

тивное (эстетическое) осмысление семантико-синтаксического абсурда, но обесмысливание (при восприятии) грамматически вполне корректного предложения. В этом последнем случае мы видим, что прагматическая интерпретация проблемы бессмысленных предложений отнюдь не снимается ее общим утверждением о том, что любой семантико-синтаксический абсурд может быть востребован и осмыслен в прагматике языка; напротив, проблема бессмысленности становится здесь проблемой коммуникативных неудач. Аналогичным образом, Рассел связывал вопрос о значимости (осмысленности) предложений «больше с услышанными предложениями, чем с высказанными», т.е. с вопросом коммуникативной успешности предложений, причем даже бессмысленных предложений. При этом известная дистинкция *абсурд–нонсенс* отнюдь не снимается, но только по-новому воспроизводится в прагматике языка. Более того, прагматический аспект языковой бессмыслицы позволяет лучше понять (чем собственно семантический аспект), почему бессмыслицы – не только неизбежный, но даже желанный момент языка. Правда, такой взгляд на речевую бессмыслицу предполагает существенное расширение нашего взгляда на язык, а именно учет его коммуникативных, психологических, эстетических, антропологических и прочих аспектов. Однако это – уже тема для отдельного разговора.